

Алексей Михайлович Ремизов

# Неуемный бубен



**Алексей Михайлович Ремизов**  
**Неуемный бубен**

*сд SDer4@Yandex.ru*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=156651](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156651)*

*Ремизов А. М. Избранные произведения: Панорама; М.; 1995*

*ISBN 5-85220-453-6*

# Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	4
ГЛАВА ВТОРАЯ	10
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	19
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	27
ГЛАВА ПЯТАЯ	41
ГЛАВА ШЕСТАЯ	59
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	75
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	86
Комментарии	97

# Алексей Михайлович Ремизов НЕУЕМНЫЙ БУБЕН

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Среди достопримечательностей нашего города после древнего Прокопьевского монастыря с чудотворною иконою Федора Стратилата, высоких древних заново перекрашенных стен другого, женского Зачатьевского монастыря и пыльного бульвара, затейливо освещаемого единственной керосиновою лампочкою, тоже не без затейливости повешенною на проволоке между рестораном и эстрадою для музыкантов, после трактира Бархатова, знаменитого огурцами укропистыми и мерными какого-то необыкновенного засола и ядренистою белою капустою – *зайчиком*, после дурочки *сестрицы* Матрены, на которую одни молились, другие потешались, третьи отругивались, наконец, после памятника показывали Ивана Семеновича Стратилатова.

И у всякого мало-мальски сведущего на этот счет было полное согласие и единодушие. Скорее о монастырях поспорят, древность которых уже самой местной ученой архивной комиссией доказана, скорее в бульваре усумнится ка-

кой-нибудь *глуздырь*<sup>1</sup> заволжский либо в том же прославленном памятнике, но в Стратилатове никто и никогда, это дело немыслимое.

Двадцати лет начал он свою судебскую службу в длинной, низкой, закопченной канцелярии уголовного отделения, во втором этаже, и вот уже минуло сорок лет, много с тех пор сменилось секретарей, еще больше кандидатов – все чужой, наплывный народ, а он все сидел себе за большим, изрезанным ножами столом у окна, выходящего в стену трактира, около которой испокон веку складывались дрова, и переписывал бумаги.

Поговорите-ка, кого-кого он только не знает, каких губернаторов не вспомнит, о которых давно уже все позабыли, да что губернаторов! – председателя первого суда помнит.

Вон Адриан Николаевич, правда, волосу много, архиерейским гребнем не продерешь, а успел-таки ноги пропить, и сколько там ни мудрит секретарь Лыков, сажая безногого параличного писца для обуздания в архивный шкаф под запор, пропьет и последнюю свою голову. Нет, Стратилатов не чета Адриану Николаевичу, и столы-то их не рядом, а друг против друга, и недаром пишущую машину между ними поставили: водки Иван Семенович отродясь не знал, что это за водка, да и кандидатская пушка в тоненьком мундштуке никогда не соблазняла его, не курил.

– А зато жив и здоров, – пояснял Стратилатов, – прожил

---

<sup>1</sup> *Глуздырь* (диалект.) – иронич.: умник.

шестьдесят лет, проживу и сотню, проживу сотню, дотяну до другой: в первые времена по пять сот благочестивые люди жили и все такое.

По словам Лукьяна, сторожа, за все сорок лет с Стратилатовым ровно и перемены-то никакой не произошло, цел, как целыши ягоды либо яйца. Положим, это и не совсем так – Лукьян кривой, на левый не видит, – а все-таки Иван Семенович еще молодцом и крепок, как крепкий хрен, хоть куда. Само собою, курчавых черных волос, о которых не раз проговаривался Стратилатов, кудрей этих – девьей сухоты и в помине нет; чисто, гладко – плешь во всю голову, от бровей до затылка, вот какая; Но что за беда, с плешью даже удобнее: деревянного масла меньше расходуется да и муху на плещи легче убить, притом она ему и к лицу как-то. Это товарищ прокурора обязательно должен бобриком стричься да чтобы руки были большие белые, как белые перчатки, с рубинчиком на мизинце, а у Ивана Семеновича и руки-то самые обыкновенные, пальцы вроде лопаточек.

– Плешь – украшение мужчины, – говорил сам Иван Семенович и не без гордости.

Другой сторож, Горбунов, которому Иван Семенович считает своим долгом всякую субботу всучить душеспасительную картинку, такой же, как Лукьян, ветхий, и хоть смотрит в оба, а тоже перемены никакой не видит и только на уши указывает, что как-то широки они очень у Ивана Семеновича да длинны ни на какую стать, и словно бы в те еще време-

на, как жива была покойница мать Стратилатова да первым охотником слыл Стратилатов по городу, словно бы тогда за черными кудрями они и не так торчали, не заострялись так кверху.

Что правда, то правда: уши большие – ушан, спору нет, но посмотрите, когда спит Иван Семенович, войдите незаметно в его спальню, когда после обеда, распластавшись на продавленном тюфяке и голову закинув на промасленную, как блин, подушку, лежит он на своей колченогой железной кровати, они и совсем ничего: разлопущатся листом по подушке, сразу и не заметишь. Вся причина, должно быть, в серой жокейской шапочке с пуговкою, которую носит Иван Семенович, это от нее.

Остаются очки – без них Стратилатов шагу не ступит, всегда на носу, – и не светлые, как у Адриана Николаевича, а дымчатые – консервы, а из-под очков чуть заметные, полужакрытые веками, мутные глазки и белки, такие желтоватые с красными жилками.

Так-то оно так, но сам-то Иван Семенович утверждает совсем другое: очки, все равно как и калоши, носит он больше для виду, а глаза у него голубые. Чем черт не шутит, может быть, они и вправду у него голубые и только из-под дымчатых очков такими кажутся мутными с желтоватыми белками, – обман зрения.

Шестьдесят лет стукнуло Стратилатову – седьмой десяток пошел, сорок лет как сидит он в суде да бумаги переписыва-

ет и за все сорок лет не пропустил ни одного дня и во все дни никогда не отлынивал от дела, а перемены, как видно – какая же перемена? – в бане под паром, подбери он только живот, и совсем за своего помощника Забалуева сойти может, а Забалуев писарь – *ёра*-мальчишка.

– Собачья старость! – ухмыляясь, говорил Адриан Николаевич, подмигивая из-под очков на своего сослуживца, и говорил так безногий, конечно, больше насмешки ради, чтобы поиздеваться или просто из зависти, ибо всегда был и останется, по меткому определению Ивана Семеновича, *обуян бесом*.

И в самом деле, какой иной смысл в этой *собачьей страсти*, чередующейся с *Гекубой*, *Голгофой*, *Аварией*, *Объектом*, *Сферой*, *Раутом* и тому подобными ни на что не похожими выражениями, по крайней мере, никакой видимой связи не имеющими с Стратилатовым: сидит вот так, сидит, бумаги переписывает, либо прошение сочиняет, либо всей пятерней разглаживает свою клочкастую рыжую бороду да с пьяных глаз и пустит через стол что-нибудь в таком роде, а все чиновники так смехом и заливаются, со смеха мрут. Ну, да верь всякому вздору, говорить с безногим – гороху наестся, и то мало, сказано: *обуян бесом*.

Другое дело всехсвятский дьякон Прокопий, в доме которого вгнездился Стратилатов. Прокопий, когда речь заходила о беспримерной крепости и не по летам цветущем виде неугомонного жильца, ссылался на *естество*.



– Естество, – говорил дьякон, потягивая свою рыжую редкую бороденку, – такое естество, его же уставы поправить невозможно.

И, пожалуй, дьякон был прав.

Как яйцо круглый и полный, во всю щеку румянец, да такой румяный – малина, а губы – сирень-цвет, другого не подберешь, и над губою – пушок либо так углем по губе кто провел, с масленицы осталось, нос – его за три версты увидишь – длинный, и все такое сытое да наливное, сахарное.

– Когда буду старым, отпущу бороду, – не без удовольствия объявлял досиня выбритый и даже кое-где поцарапанный от тщательного бритья Иван Семенович и молодежато вытягивался на своих жилистых тонких ножках, инда утроба вся вздрагивала, стойкий, этак вставал открыто плешью к солнцу, крепко и твердо упираясь на свои огромные тяжелые ступни: вот, мол, я – голова.

И все, как один, соглашались, что Стратилатов – голова, каких мало, но тот же Адриан Николаевич не пропускал и тут случая позубоскалить.

– У тебя не голова, – ухмылялся безногий, – у тебя так, брат, головка!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Всякий день поутру часов в семь, когда по домам еще бродит сон, последний, но зато самый сладкий и такой крепкий, что ни стуком дров, ни колокольным звоном – а звонят и в Прокопьевском и в Зачатьевском, и в приходских церквях – никакими силами, кажется, не одолеть и не выгнать его за дверь в сени, когда одни лишь торговки с молоком и корзинами идут на базар и кричат, как только умеют кричать одни лишь торговки, да бегут чиновники в казенную палату, в этот ранний заботливый час, проходя по Поперечно-Кошачьей, легко столкнуться лицом к лицу с Стратилатовым.

Зимою он в ватном пальто, на шею намотан красный гарусный шарф, летом в сером люстриновом пиджачке и в серой жокейской шапочке с пуговкою, из кармана непременно торчит пестрый платок, под мышкою синий мешочек с сахаром, и всегда калоши.

И если бы вдруг под каким-нибудь волшебным глазом так все изменилось: перескочили бы усики-пушок, долгий нос, малиновый румянец и сама гладкая, смазанная деревянным маслом стратилатовская плешь на другую и совсем непоказанную голову, на полицеймейстерскую – на самого Жигановского, а жигановские усы на председателя – старичка чухоточного, безвозвратно перетерявшего за упорными болезнями всю свою природную отклику, а сам Стратилатов пре-

вратился бы в какого-нибудь кита, свинью, мышь или белую лебедью поднялся бы со стаей лебедей над Волгою, все равно по одному синему мешочку и калошам ни с чем его не спутаешь.

Как в суде, так и в других казенных учреждениях чиновники обыкновенно пьют чай в складчину, сахар обходится в месяц семнадцать копеек на брата. По расчетам же Стратилатова выходило, что выгоднее носить свой сахар. Вот почему неразлучен с Иваном Семеновичем синий мешочек, и это всем известно. Что же касается калош, то по огромности своей стратилатовские не уступят даже и тем, что в витрине у Охлопкова для ротозеев выставлены, и из тысячи в какой угодно толпе выделяются, притом с первого же взгляда в глаза бросится, что и надеты-то они только для виду: сапоги у Стратилатова рантовые, солдатские, из толстой грубой кожи, которую ни дождь, ни мороз не берет, и одни сами по себе без всяких калош прекрасно скрадывают пространство.

Поднявшись в шесть под всехсвятский благовест и помолвившись Богу, а Иван Семенович молится долго и усердно, выбрившись и поворчав на Агапевну, с незапамятных времен прислуживающую у Стратилатова, после утреннего чаю отправляется он по Поперечно-Кошачьей на толкучку, где с час и толчется около всякого старья и книжных ларей будто безглазый, в своих темных очках, как-то носом, что ли, высматривая заброшенное добро, сваленное как попало, вперемежку с пустяками.

Толкучка для Стратилатова не праздное развлечение праздного человека, толкучка для него – существование, дело, как для врача эпидемия, для адвоката разбой, для газетчика несчастное происшествие; и не из тридцатирублевого чиновничьего жалованья, а через эту толкучку лежало у Стратилатова в государственном банке неприкосновенно целых десять тысяч.

– Умные люди всегда устроятся, дураки никогда не умеют! – так говорил Стратилатов.

Еще в свои молодые годы занялся Иван Семенович промыслом – продажей старинных вещей. Купить удавалось ему всегда задешево – без кошелька не выходил на толкучку и, пока другие зевали, брал без всяких проволочек облюбованную вещь, а затем сбывал ее за хорошую цену столичным скупщикам. Так, скупая и перепродавая, сколотил себе Стратилатов капитал.

Наш город стариною славится.

Но не одна выгода, также и страсть гнала Ивана Семеновича на толкучку, и не меньшая, чем у соседа его Тарактеева, мучного торговца, начетчика и нумизмата, и сам он не прочь был из-за какой-нибудь гравюры, качества весьма подозрительного и вовсе не принадлежащей Рембрандту, которому любил приписывать все без исключения свои гравюры, так рассориться с приятелем, как недавно еще поссорились на всю жизнь городской врач Лихарев с архитектором Барановым из-за каких-то кресел, будто бы *петровских*, и не

все продавал он из добытых драгоценностей, оставляя себе кое-что и действительно ценное. И вот почему среди судебных чиновников один Борис Сергеевич Зимарев – помощник секретаря и непосредственный начальник Стратилатова – за умение свое точно и верно определить древности снискал у него искреннее уважение и даже дружбу.

В нашем городке всякий во всем понимал толк, да как-то без толку.

К девяти Стратилатов в суде. Он приходит первый, раньше всех, и только за последнее время секретарь Лыков не отстает от него, а иногда и предупреждает, но Лыков – исключение и вообще на настоящих прежних секретарей ничуть не похож. Прокурора Лыков не боится, а прокурора все боятся, язык у Лыкова не лопотун, не жало, а попадешь ему на язык – в когтях у черта уютнее, просмеет, отбреет и все напрямик в глаза жарит без обиняков, без околичностей, без лжи и лести, а когда смеются – бровью не двинет, точно замком заперт, и так законы знает, будто сам сочинял их.

Стратилатов является в суд не с пустыми руками: кроме синего мешочка с сахаром, он приносит с толкучки какую-нибудь старую вещь – картину, икону, книгу либо так мелочь. И первым делом сложит покупку за свой стул к стеклянной горке, где хранятся бланки, бумага и другие канцелярские принадлежности, затем, высморкавшись так, что вся горка звякнет и ей отзовется другая с разбитым стеклом, от Адриана Николаевича, подложив под локти по листу чи-

стой бумаги, чтобы рукавов не засалить, обсосет перо и примется за переписку.

До двенадцати лучше не беспокоить Стратилатова: в двенадцать секретарь потребует от него исполнений по предыдущему дню и, хочешь не хочешь, подавай бумаги, а не подашь, Лыков потачку давать не любит, такой столбняк нагонит, своих не узнаешь.

И не столько выговор, сколько само по себе ослушивание страшит Ивана Семеновича. Начальству он предан, страх перед ним знает, и чем выше начальство или, как говорится, иное какое усмотрительное лицо, тем страх сильнее: поджилки дрожат, ноги подкашиваются, ножки тараканьи вырастают и до слез обуяет трепет, до потери всякого соображения, до полного забвения нужнейших житейских обстоятельств, как-то: имени, отчества и фамилии, возраста, пола и положения, когда, например, случается столкнуться ему в прихожей с председателем, с которым ни разу во всю свою жизнь не сказал он ни одного слова. Нет, лучше не беспокоить Ивана Семеновича.

Но лишь только секретарь уедет с докладом и останется вместо него всего-навсего один его стол, заваленный делами, тут-то и наступает самое подходящее время побеседовать с Стратилатовым. Он становится неистощим и разговорчив: от одного к другому собирает он всех чиновников и, пришепечывая от удовольствия, пускается во все тяжкие – всякие истории, всякие приключения, всякие похождения историче-

ские, современные и даже апокрифические, из отреченных книг заимствованные, вроде «Повести о Ноевом ковчеге»<sup>2</sup>, и все, как на подбор, содержания весьма тонкого, жарит он на память, как по-писаному, пересыпая анекдотами, шуткою и так, попутными замечаниями, тоже по смыслу своему исключительной легкости, затем переходит к стихам, известным больше в рукописном виде, нежели из печатных книг, вроде знаменитой «Первой ночи», и декламирует поэмы нараспев, с замиранием – по-театральному.

Что за смех подымается! Вот лопнешь, вот со смеху надсадишь бока, нет ему тына, ни помехи – три кандидата за столом Стратилатова да три за противоположным у Адриана Николаевича, помощник Стратилатова писарь Забалуев да Адриан Николаевич безногий с своим помощником писарем Корявкой – кто хохочет, кто сопит, кто взвизгивает, кто просто подкрякивает, а сам Иван Семенович так ржет, пыль подымается, пылинки летят, точно перетряхивают сданные

---

<sup>2</sup> «Повесть о Ноевом ковчеге» – травестийное переложение библейского сюжета. Содержание этого сочинения излагается самим Ремизовым в его повести «Пятая язва»: «Есть такое сказание о Ное, как праведный Ной, впустив в ковчег зверей, чистых по семи пар, а нечистых по две пары, задумал, обуздания ради и удобства общего, лишить их, временно, вещей существеннейших. И, отъяз у каждого благая вся, сложил с великим бережением в храмину – место скрытое. И сорок дней и сорок ночей, во все время потопа сидели звери по своим клеткам смирно. Когда же потоп кончился и храмина была отверста, звери бросились за притяжением своим, и всяк разобрал свое. И лишь со слоном вышла великая путаница, слону в огорчение, ослу на радование и похвалу» (Ремизов А. М. Повести и рассказы. М., 1990. С. 413).

в архив пропыленные дела.

Другому бы и невмочь, другой угорит, но как раз именно этот-то воздух и действует на Стратилатова благоприятно: хлебом не корми, дай подышать.

Разгорячается воображение, вылетают слова все игривее и забористее, да такое загнет, небу жарко. И уж не пришепetyвает, а словно в бубен бьет, молодецкато вытягивается на своих жилистых тонких ножках, инда утроба вся вздрагивает, стойкий, этак встает открыто плешью к солнцу, и она, гладкая, смазанная маслом, маслянистая, румянится, как обе щеки, малиновым румянцем.

– Неуемный бубен! – взывал, трясясь от хохота, безногий Адриан Николаевич.

Когда в прокурорский надзор стали поступать для уничтожения конфискованные книги по статье, как говорилось в протоколе, соблазнительного их характера, Стратилатов, имея ходы, получал такие неудобные книги, внимательно строчка за строчкою прочитывал их и, выудив места наиболее интересные и занимательные, преподносил чиновникам к всеобщему удовольствию и развлечению всей канцелярии и так же ржал, как при какой-нибудь «Азбуке» или при «*Воспоминаниях вдового священника*» – чтения довольно излюбленного и ходового, и так же подымалась вокруг пыль, летели пылинки, точно перетряхивали сданные в архив пропыленные дела.

– Грязный человек! – так отзывался, не иначе секретарь о



Стратилатове, имея в виду эту самую падкость Стратилатова на предмет исключительный.

Как огня, боялся Иван Семенович Лыкова, но это мнение о себе пропускал он мимо ушей, не трогало оно его и не могло уколоть. Слава Богу, за сорок-то лет беспорочной службы нос его кое-что чуял, и пускай Лыков – законник, пускай аккуратен, как немец, и всех в страхе держит, а все-таки – тут Иван Семенович отдал бы руку на отсечение – Лыков революционер. Революционеров же Стратилатов за людей не признавал, а так за шушеру, выделяя лишь одних декабристов.

– Только благородные и могут бунтовать, а это все шушера! – вот подлинные слова Стратилатова.

Молодежь – чиновники, не относясь к Стратилатову так безразлично и строго по-лыковски, насмеялись над ним и изводили его, когда ему совсем было не до смеха, и чаще при спешных делах до чаю, за развлечения же и за то, что давал взаймы, пожалуй, даже любили.

Стратилатовское правило всем хорошо известно: попроси – не откажет, и расписки не надо, и только для порядку, когда уж возвратишь долг, попросит расписаться, вытащит из кармана сложенный в восьмушку лист с записями и укажет твою фамилию:

– Отметьте, что получено.

Мудрое правило, всеми оцененное по достоинству.

И вот почему в три часа, когда из суда вываливалась ком-

пания молодых чиновников и притом далеко не чинно, а шумно и безалаберно, это значило, что выходит Стратилатов.

По дороге домой обыкновенно он оканчивал спутникам начатый еще в суде рассказ, по тонкости своей, как всегда, требующий большой выразительности, прерывая свою кудрявую речь, и совсем не в ущерб ей, лишь у церквей, так как считал своим долгом, поравнявшись с церковью, обязательно помолиться, а молился Иван Семенович долго и усердно.

Так мирно в веселой компании да в приятных разговорах после дневных трудов добирался Стратилатов до Всехсвятской церкви. Миновав всехсвятский алтарь, окруженный могильными крестами, приходящимися как раз против окон его гостиной, завертывал он на свой двор и шел по дорожке важно, степенно и благопристойно, как подобает чиновнику, заглядывая через свои темные очки в окна смежной квартиры полицейского надзирателя и предвкушая обед, щи какие-нибудь горячие, которые изждались его, упревая в печке за розовою занавескою, как изждалась старуха Агапевна, принимавшаяся уже несколько раз раздуть рыжим стратилатовским сапогом непослушный пузатый никелированный самовар – *вазой*, и, дойдя до амбара, где хранилась старинная мебель, сундуки и всякие мешки, опять заворачивал, ускоряя шаг при виде узенького крыльца и покосившейся, обитой войлоком и клеенкой, захватанной драной двери.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Откуда и как пошел Стратилатов, в точности не выяснено. Отец его из крепостных – управляющий в имении одного из крупных, впоследствии разорившихся помещиков нашей губернии, некоего Обернибесова, мать обернибесовская крепостная. А между тем сам Иван Семенович не без таинственности заявлял, что мужицкого в нем ни вот эстолько! – и что он – дитя дворянское и, как на некоторое будто бы неопровержимое доказательство, тоже не без таинственности и с видимым удовольствием, указывал на *это место*, как сам любил выражаться, – на свой длинный нос, который за три версты увидишь.

Опровергать не опровергали, никто этим не занимался, и сам вольнодумствующий Адриан Николаевич как будто тоже ничего не имел против, даже наоборот, был как-то особенно заинтересован и при случае считал своим долгом высказать собственные догадки о таинственном зачатии Стратилатова.

Адриан Николаевич утверждал, что *это место* – нос стратилатовский – ровно ничего не доказывает, а если и доказывает, то как раз противное: ведь и последнему дураку ясно наизаконнейшее его происхождение от законного родителя – наследство простого человека, другое дело, будь на нем родинка или еще какое украшение, а что вот другое место и не менее выдающееся – стратилатовские лопухатые уши, заост-

ренные кверху, подлинно самое настоящее высшей породы – обернибесово, и если уж ссылаться, так именно на уши и отнюдь не на нос.

Ошибался ли Иван Семенович, а Адриан Николаевич был прав, или, наоборот, Иван Семенович был прав, а Адриан Николаевич ошибался, разобраться в таком мудреном деле сверх силы человеческой, и лучше всего, да так и наитие подсказывало, положиться на обоих, веруя тому и другому – и в нос и в уши.

Детство Стратилатов провел в обернибесовской старинной усадьбе и воспитание получил, как кажется, под стать таинственному своему зачатию. Смутно и путано вспоминал Иван Семенович свои ранние годы, течение которых будто бы складывалось возвышенно и необыкновенно.

Уж само крещение было необыкновенно. Крестили его не в купели, а *через шапку*. И произошло все это при самых исключительных обстоятельствах. Было в тот год на селе беспоповье – умер священник, а родился Иван Семенович зимою слабенький – везти такого за сорок верст в ближайший приход было невозможно. Послали Егора, столяра обернибесовского, в то село к священнику. А священник ехать не может – храмовой праздник. Что делать? Да вот что делать: окрестил батюшка шапку и дал ее Егору, чтобы тот, как придет, надел бы ее на младенца, и уж никакого крещения больше не надо. Спрятал Егор шапку, поехал, верст двадцать отъехал, вывалился на ухабе, – имя-то и забыл. Повернул на-

зад и прямо к священнику, а поп имени не хочет говорить: «Дай, говорит, двугривенный, скажу». Егор ему полтину – деньги-то управляющего! – да на радостях в трактир, выпил, обогрелся, шапку-то и потерял. Шапчонка старенькая, грош ей цена, да с пустыми руками тоже вернуться неловко. Едва отыскал какую-то, да скорее домой. Надели ее на младенца, так через шапку и окрестили. Вот такая история!

Рос он смышленным, рано выучился грамоте, – скоро она ему в ум далась, и умел из ружья стрелять, рано пристрастился к чтению, перечитал много и разного, но больше божественного, пробовал и сам сочинять, писал стихи. Семнадцати лет по смерти отца своего переселился с матерью в город, в дом всехсвятского дьякона Прокопия. Из деревни вывезено было много всякого добра, и, может быть, оно-то и легло в основание тем собраниям редкостей, какими славится Иван Семенович, и положило начало его промыслу.

О законном отце своем Стратилатов сам никогда не вспоминал, а на расспросы отвечал неохотно и говорил не иначе, как с какою-то горькою обидою и даже с презрением, и единственно за то, что отец – простой мужик. Мать же свою обожал, ухаживал за нею, холил, жалел и берег пуще себя, чуть не молился на нее – примернее и почтительнее не найдешь сына, а после смерти ее сохранил самые трогательные воспоминания, и кровать красного дерева с бронзовыми маленькими крылатыми львами и венчиками, на которой спала она, стояла под чехлом в сарае неприкосновенно.

– Мне ничего для мамыши не жалко, – рассказывал, бывало, Иван Семенович, – я наверное знал, что она помрет, но все-таки шесть рублей восемьдесят семь копеек истратил на лекарство. Так мне скучно было, места не нахожу, некому чаю налить.

Год спустя после смерти матери, справив поминки, Стратилатов женился.

Рассказывали, что в день свадьбы после венца, когда разошлись гости, провел он ночь один, затворившись в гостиной, и, стоя на молитве, боролся с собою.

– Иван, опомнись! Иван, побори! – так будто бы укорял Иван Семенович и обуздывал себя до самого утра, и взошло солнце, и все-таки не поборол, зато уж на следующий день в радости песни пел.

Жену он взял себе молодую, красивую. Глафира Никанорова тихая, кроткая, редко слово услышишь, и одна забота, что о своем Ванечке, да такая усердная и желанная, любо-дорого посмотреть, и по-старинному: руки с подносом, ноги с подходом, голова с поклоном, язык с приговором, – чего еще, живи, как Адам в раю, – а между тем на другой уж год Стратилатов снова остался в одиночестве.

Надо сказать, что об эту пору назначили в наш суд нового следователя – молодой человек, весельчак, большой шалопут и, хоть ни в каком родстве не состоял с Стратилатовым, фамилия одна и та же – Стратилатов.

Бывают же такие досадные совпадения: живет человек ти-

хо, и никого не трогает, все тебя знают и ничего за тобою не числится, и хватать, в один прекрасный день появляется некто с твоей фамилией и все перевертывается – ты уж тот да не тот или не совсем тот, потому что есть еще и другой, дели с ним свое имя, дели и всякую пакость. И появляется тебе этот самый с твоей фамилией не в каком-нибудь головоломном фантастическом смысле – не от расстройства и дурного воображения, а самым живым и осязаемым образом, с метрикою и даже с положением, и тут-то подымается проклятая мысль: а что если этот новоявленный – настоящий, а ты – подделка?

Задумался Иван Семенович и стал все думать и всякие строить предположения: что все это значило, и к чему бы это такое было, и нет ли тут какого знамения, и кто настоящий, он или Стратилатов или тот, следовательно Стратилатов? И, ничего определенного не решив, насторожился.

Все шло по-хорошему, не случилось никакого недоразумения, не было путаницы и подмены, и уж собирался было Иван Семенович к новому году выкинуть из головы все свои опасения и окончательно утвердиться, что он и есть самый настоящий Стратилатов, а следовательно – подделка. И вот, словно бы нечистое что, потянуло его на именины к Артемию, старому покровскому дьякону.

Как всегда, именины Артемия справлялись хмельно и весело. Навалило гостей, хозяина с ног сбили. Много было барышень и много подавалось угощения. Стратилатов был в

самом хорошем расположении духа, набил полные карманы лакомствами для своей Глафиры Никаноровны, философствовал с Зачатьевским *Ахитофелом* – протопопом отцом Пахомом, щеголяя своею ученостью и в оборотах речи употребляя отборные слова, вроде какого-нибудь *паки-течения*, *он-сицы*, *непщевания*, *гобзования* и тому подобных замысловатостей<sup>3</sup>, впопад и невпопад, а когда стали в фанты играть, засыпал остротами, а за верблюжьим скаканьем, как выражался Артемий, – за танцами, смешил анекдотами, рассказами о Карапете Карапетовиче и его приятеле, о преимуществе новых языков перед древними, про смекалку, *жую ремешки* и про другие не менее забавные случаи, да так и не заметил, как ужинать подали. И вот за ужином среди всяких шуток, когда гости стали похваляться друг перед другом, расхвастались, послышалось ему, что в пьяном углу заговорили о Глафире Никаноровне, стал прислушиваться – так и есть, о ней, и все в выражениях самых иносказательных и равнодушных, затем кто-то сказал:

– Эх ты, слепая курица, чего говоришь зря, по уши врезалась она в Стратилатова, их и водою не разольешь.

Выронил Иван Семенович вилку, как обухом ударило его по лысине: представился ему вертлявый следователь Стратилатов, вспомнились ему все предчувствия, вся тревога, и

---

<sup>3</sup> *Паки-течение* (церковнослав.) – напротив, наоборот. *Он-сица* (церковнослав.) – он самый, тот же. *Непщевание* (церковнослав.) – думы, помыслы. *Гобзование* (церковнослав.) – изобилие.



так зарябило в глазах, такое сердце взяло, что сам бы себе язык перекусил. Под предлогом внезапного внутреннего расстройства Иван Семенович вылез из-за стола вон и, сломя голову, без шапки, бросился домой. Как добежал, не помнит, бешеный ворвался в дом и прямо с кулаками на Глафиру Никаноровну.

– Вон, вон из моего дому!

Та со сна ничего не понимает.

– Куда, – говорит, – мне деваться?

А он ее за косы, да так, что косы остались в его руке, пихнул к дверям, да за дверь, да как саданет коленкою с крыльца:

– К Стратилатову, вот куда, к паршивцу своему Стратилатову, чтобы и духу твоего не пахло.

Так и выгнал ни за что ни про что и бескосою.

Глафира Никаноровна сама после всю эту историю всем рассказывала и со всеми подробностями, жалуясь на свою горькую, сиротскую долю. Иван Семенович молчал, и не поминай ему – уши затыкал, когда говорили о жене его, имени ее не хотел слышать. А когда, и это еще совсем недавно, помощник Адриана Николаевича, писарь Корявка прошелся спьяну насчет неудавшихся браков вообще, и хоть имена умолчал, но очень уж прозрачно, Иван Семенович схватил чернильницу и пустил ее в Корявку, – в Корявку не попал, промахнулся: у секретарского стола грохнулась чернильница и осталось до сих пор черное пятно. Значит, и через тридцать лет все еще кипело и мучило, – вот какие бывают иску-

шения!

Следователя Стратилатова в тот же год перевели от нас, Глафира Никаноровна доживала век у своей матери, тихая и кроткая.

Одному оставаться в доме невозможно: и скучно, и неудобно, да и за домом надо чтобы присмотр был. Не устроил Стратилатов себе тихого семейного очага, не удалась ему семейная жизнь, ну да хоть как-нибудь, а надо наладить жизнь. Тут-то и определилась к нему Агапевна, и за старостью лет, никуда не годная, нанялась очень сходно – не за жалованье, а всего за один хлеб, и с тех пор служит ему безответно и безропотно, верою и правдою.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Замечательный человек Иван Семенович, и всехсвятского дьякона дом, где протекают его тихие, одинокие дни, особенный.

Дом небольшой, – две низенькие комнаты и кухня, и везде лампадки: в кухне лампадка, в спальне лампадка, а в гостиной две – в обоих передних углах. Иван Семенович сам любит зажигать лампадки, Агапевне не доверяет – старая, руки у нее трясутся и за что ни возьмется, все из рук валится, и только в постные дни, в среду и пятницу, когда, по примеру Агапевны, употребляет Иван Семенович натошак святое масло, дозволяется ей вскарабкаться на табуретку и взять ложечку из лампадки.

Как пройдешь сени, если, конечно, за сундуки не зацепишься и шею не свернешь, будет кухня: налево шкаф, против шкапа русская печь с розовою занавескою, направо, у окна, залавок, посреди дверь в спальню. И везде, по всем углам, у печки, за шкапом, у залавка черствые хлебные корки сложены. Зачем понадобилось Агапевне черствые корки копить, Бог ее знает.

Беда с Агапевною! А ведь как старается старая, из кожи лезет, из последних своих клячных сил трудится, лишь бы только угодить своему соколу – Ивану Семеновичу: ходит за ним, как за малым дитем, и чтобы сердце его не уныло,

охотно сказала бы сказку, да память плоха – годы отшибли, и песню бы спела, да голосу нету, и что хочешь, – проплясала бы, заплела бы плетень, завилась бы выюном, вывернулась, да старые кости – ноги не слушают, все бы вынесла – грубое слово, только бы из его сахарных уст, нелюбый взгляд, только бы из его светлых глаз, приняла бы напрасную смерть, только бы от его белых рук, а помрет Стратилатов, так она к нему, к покойнику, как к мощам, приложится, и не тление, благоухание от его смрадного трупа послышится ей и, кто знает, исцеление себе получит, да и другому недужному здоровье вымолит. Ей-Богу, заставь Иван Семенович Агапевну по-собачьему лаять либо петухом петь, не заперечит: взвизгнет, залает шавкою, петухом прокричит, но от этого ничуть не легче. Беда с Агапевною!

В прежнее-то время старуха и пироги пекла, а нынче ослабла, ничего не может: того недоглядит, другое упустит, третье недосмотрит, только мышей разводит.

Хорошо еще, что Иван Семенович невзыскателен – ему одно: побольше чтобы всего было да понаваристее, а таракан ли во щях плавает или лавровый лист, это ему все равно, да еще хорошо, что строгий он постник, все четыре поста соблюдает: и Великий пост, и Петров, и Госпожинки, и Филипповки, все двенадцать пятниц, и в среду, и в пятницу, и даже понедельник.

– Вот, старуха, – скажет другой раз Иван Семенович, – мало ты делаешь, а ведь хлеб-то ешь.

- Так, батюшка.
- Много ты ешь хлеба.
- Так, батюшка.
- Чаю пьешь много.
- Так, батюшка.
- Ты хоть бы таз вычистила.
- Хорошо, батюшка.

В жаркие дни, перед обедом, не столько от жары, сколько для удовольствия, Стратилатов обливался колодезного водою около грядок; грядки против кухонного окна, в церковной ограде, там же и колодезь.

Раздевшись в кухне весь донага и запасшись соленым огурцом, Иван Семенович вылезает в окно и, обойдя грядки, становится под ракитю. Агапевна с тазом вскарабкивается на табуретку, и начинается омовение. И во все время, пока бежит вода на его распаренную, смазанную деревянным маслом, румяную плешь, ест Иван Семенович соленый огурец, веруя, что с его помощью не прильет кровь к голове и солнца бояться нечего.

Предусмотрительность совсем не лишняя: солнце как раз в эту самую минуту призадерживалось, подымало свой осовелый, знойный глаз, жаркое, замирало прямо над Иваном Семеновичем, залюбовавшись ли на него, а он поистине был великолепен во всей своей красе с соленым огурцом во рту, или завидуя ему, а удовольствие, испытываемое Стратилатовым, было столь велико, что лопухатые, заостренные кверху

уши его блестели.

Редко, однако, обходилось удовольствие без неприятных последствий, но не солнце – от него огурец защита, причина – Агапевна: то выскользнет таз из ее трясущихся рук, то воду прольет мимо, то себя обольет, то скувырнется с тазом наземь.

– Ты, Агапевна, хоть бы попрактиковалась, – скажет в досаде Иван Семенович, – зря только воду льешь, еще всемирный потоп сделаешь.

И вот из преданности ли, не смея ли послушаться приказаний или из страха всемирного потопа, Агапевна практиковалась: протаскивала она через окно порожнюю кадушку из-под капусты, ставила ее под ракиту, где Иван Семенович становился, вскарабкивалась с тазом на табуретку и поливала. Но путного из этого ничего не выходило: кадушка обливалась исправно, а Ивану Семеновичу не так еще давно чуть было голову тазом не проломила.

– Наказание мне с тобою, старуха! – скажет другой раз Иван Семенович.

– Так, батюшка.

– За грехи мои послал тебя Господь Бог.

– Так, батюшка.

– Крест ты мой.

– Так, батюшка.

– Ты хоть бы комнаты проветрила, не почтово-телеграфное отделение.

– Хорошо, батюшка.

Обедает Иван Семенович в гостиной.

Кухня, спальня, гостиная – так идут комнаты. Гостиная – самая парадная, и кажется, нет в ней свободного уголка, вся она заставлена и завешана. По стенам масляные картины и гравюры в больших старинных рамах, акварели, миниатюры, гобелены, и на всех картинах и гравюрах – красавицы и все, как на подбор, в соблазнительной своей натуре. Одно исключение – портреты царей. Есть и другие картины, но они стоят повернуты лицом к стене, это те, где отсутствуют дамы. И там много смотрит всяких красавиц, что сразу не разберешь, где лицо, где принадлежность, сам же Стратилатов знает каждый мизинчик, каждую ямочку, каждое родимое пятнышко и любовно дает объяснения о любой, такие милые и игривые, выражаясь по-своему, возвышенно, стихами рукописными.

По словам Ивана Семеновича, если бы возможно было, он обратил бы всех красавиц в перочинный ножик и положил бы себе в карман, чтобы были неразлучны они с его сердцем, или обратил бы их в нарядных кукол, чтобы играть с ними, держа всегда у груди.

Как только очухаешься от картин, выступают перед тобою и другие предметы. Налево от двери большой сундук, полон набитый книгами, от сундука по стене витрина с монетами – монеты рядком лежат по зеленому полю и все редкие прекрасной сохранности, все же истертые-слепые у Стратилато-

ва ходко идут на любителя, ну хоть тому же соседу Тарактееву, от витрины до угла стол с портфелями, в портфелях гравюры на меди, других Стратилатов не держит, и, конечно, все рембрандтовские, в углу икона Спасителя – *Грозный и Страшный Спас*. Направо от двери горка с саксонским фарфором, от горки по стене стол, на столе старинные ларчики, миниатюры и дешевые соблазнительные открытки, под столом довольно увесистая укладка, величиною в обхват, полная серебра и украшений, по бокам стола два венских стула; к углу шкаф красного дерева. Шкаф особенный, с драгоценностями: тут и чашки белые, как сахар, с маленькими розовыми и зелеными цветочками, и хрусталь с вензелем червонного золота, чернильница в виде императорской короны – подарок гимназистки Яковлевой, которую, как признавался сам Иван Семенович, ровно три года соблазнял он и ничего не добился, печать Стратилатова, изображающая как бы некий перст, окруженный надписью: *от оного свое начало все восприяло*, наконец, золотые туфельки и старинная чашка в виде яйца на курьих ножках с золотым крылом вместо ручки, эту чашку Стратилатов никому не дает, бережет пуще глаза, потому что из нее его мать чай пила. На шкапу прихода-расходная книга, куда Иван Семенович записывает и еженедельно подсчитывает расход свой на милостыню нищим, на дверцах шкапа старинный обернибесовский галстук с кистями. В углу икона Божьей Матери – *Всех скорбящих радости*, между иконою и шкапом старинное оружие.



Гордость же Стратилатова – овальное зеркало с овальными углублениями, шестнадцать раз отражает.

– Купцы в ногах молили, предлагали сто рублей, не взял! – гордился Иван Семенович непродажным своим сокровищем.

Зеркало висит между окон, выходящих к всехсвятскому алтарю, окруженному могильными крестами, перед зеркалом стол, по бокам по стулу, а посередке кресло с орлами.

Тут, усевшись на царское кресло между двумя неугасимыми лампадами у Спасителя и Богородицы, перед чудесным заветным зеркалом, отражаясь шестнадцать раз, обедает Стратилатов.

Кончится обед, разоблачится Иван Семенович – бережно снимет с себя серый люстриновый пиджачок, скинет долой сапожищи, шваркнет их в угол и на боковую. Ложится Стратилатов, ложится и Агапевна.

Спальня между гостиною и кухнею – проходная, по стене к кухне – лежанка, возле лежанки колченогая железная кровать с продавленным тюфяком и промасленною, как блин, подушкою. На лежанке спит Агапевна, на кровати Иван Семенович.

Тихо и безмятежно спит Стратилатов. Глубокий крепкий сон непробудно заваял его легкими крыльями, и кажется, прекращается в нем все течение жизни, наступало, как выражается всехсвятский дякон Прокопий, *всеобщее естества усыпление*.

Сны Стратилатову снятся редко, а если уж надо присниться, то непременно такие дурные, хоть и вовсе спать не ложись. Три сна особенно мучили и изводили Ивана Семеновича.

Снится ему, будто едет он в золотой колымаге императрицы Елизаветы Петровны, на нем серый люстриновый пиджачок, на голове императорская корона и сидит будто он, развалясь, на высоких подушках. В окна мелькают дома с вензелями и везде одно имя, его имя – Стратилатов, бежит народ за колымагою, кричат «ура», а он себе сидит, развалясь на высоких подушках, ничего не думает, ничего не желает – блаженствует, «ура», Стратилатов! Но вот, как сворачивать колымаге на мост к бабьему базару, чья-то рука внезапно вытаскивает его через окно и на мороз. Нет лошадей, а его, Стратилатова, в сером люстриновом пиджачке и в императорской короне, впрягают в стопудовое дышло и давай погонять. Жилится Иван Семенович, трется о стопудовое дышло, весь бок облупил, падает, опять подымается, выбился из сил, а колымага ни тпру ни ну. И нападает на него невыразимый ужас, начинает кричать и кричит благим матом.

А другой раз снится ему, будто сидит он в своем царском кресле перед чудесным зеркалом и, отраженный шестнадцать раз, любит себя и вдруг замечает, что нос его скопился на сторону, и уж не узнает себя; одна ноздря маленькая, меньше игольного ушка, другая огромная, шире шапки – горло сквозь ноздрию видно. И опять от ужаса кри-

чит.

Третий сон самый страшный, страшнее колымаги и носа. Снится ему, что он маленький и жива покойница мать. Матери будто недосуг: надо тесто ставить, блины печь и не *ходячие*, а *жилые* блины, как на поминках. И вот уложила она его в ящик, плотно накрыла крышкой, и понесла на погреб, и там закопала в землю. «Ночь обночуешь, а наутро возьму!» – и ушла. Лежит он в ящике – тесно, не перевернуться, и бок колет, и от сырости с крышки капает на лицо, а утереться нельзя – невозможно руку поднять. А капли холодные, тяжелые, упала одна на переносицу, потекла по носу да в рот, а за ней другая. *Богородице, Дево, радуйся*, хочет выговорить Иван Семенович и вместо *Богородицы* начинает из «*Гавриилады*»: *В шестнадцать лет невинное смирение...* И в ужасе кричит, и кричит, и знает, что глубок погреб – не услышат голоса, да само нутро кричит.

И все эти страшные сны снились ему почему-то под двенадцатые праздники, в простые же будние дни обыкновенно ничего не снилось.

Тихо и безмятежно спит Стратилатов. Глубокий крепкий сон завял его легкими крыльями, и, кажется, прекращается в нем все течение жизни, наступало, как выражается все-святский дьякон Прокопий, *всеобщее естества усыпление*.

Но вещам не до сна в этот послеобеденный час, и они начинают свою вечернюю жизнь, пока еще не погас свет.

По левую руку от лежанки книжные полки с журналами

– журналы перевязаны полными комплектами и расположены по их важности: «Исторический вестник», «Русская старина», «Русский архив» и в самом низу «Вестник Европы», «Русская мысль». На полках впереди книг табакерки и опять дешевые открытки соблазнительных красавиц вперемежку с видами святых мест. Против кровати книжный шкаф до двери, над дверью две олеографии: на одной нимфа, сидящая на дереве, на другой Серафим Саровский с медведем<sup>4</sup>. И опять книжный шкаф и комод с гравюрами, гравюры на меди, и, конечно, все рембрандтовские, и тут же всевозможные душеспасительные картинки, которыми одаряется по субботам сторож Лукьян. Между шкапом и комодом перед окном подставка, на подставке гипсовый рыцарь с мушкетом и в латах.

Лукаво глядят с открыток красавицы: «Иван Семенович, – подмигивают красавицы, – встань! – и смеются, как бесята, все черноглазые, подзадоривают красавицы, – ну же, плешня, да встань!» – и одна за другую потупляются, как Танька *Мерин* какая-нибудь в Денисихе. И наклоняется с дерева нимфа, протягивает пальчик: «Стратилатов, я пришла!» И выходят святые отцы, праотцы, великомученики, преподобные, великие чудотворцы из огненных срубов и тихих келий с медведем и благословляют его. «Мы станем тебе в помощь!» А гипсовый рыцарь с мушкетом и в латах не

---

<sup>4</sup> ...*Серафим Саровский с медведем*... – Серафим Саровский (1760—1833) – монах и подвижник Саровской пустыни, канонизирован православной Церковью. На иконах изображался с медведем, которого, согласно преданию, приручил.

сводит своих белых упрямых глаз.

Напрасно! Сном праведника спит Иван Семенович, ничто не расшевелит его, ничто не тронет. И если бы сама синяя страшная тетрадка, втиснутая в угол шкапа между «Скитским покаянием» и «Любовью – книжкой золотою», обойдя сторонкой «похождение Ивана Гостиного сына»<sup>5</sup>, «Пригожую повариху»<sup>6</sup>, стихотворения Нелединского-Мелецкого, Батюшкова, Подолинского<sup>7</sup>, Кольцова, Некрасова и другие любимые книги и, пробравшись сквозь ненавистного ему Толстого, презираемого им Гоголя, уму непостижимого Достоевского и других подобных сочинителей, вылезла бы из шкапа, развернулась бы – страшная «Гаврилиада», любимая и ненавистная, заветная и проклятая, да и та не подняла бы его из тихого безмятежного сна.

Утихает вечерняя заря, все предметы колеблются, как пьяные, и доносит ветер звон со старых звонниц и колоколен. Отдается, парит звон, колокол с колоколом перекликается – зазвонный, праздничный, буревой, гуд-колокол, и плывет из-за Волги крылатый и плавный лебедь-колокол. И вдруг

---

<sup>5</sup> «Скитское покаяние»; «Любовь – книжка золотая»; «Похождение Ивана Гостиного сына» – произведения лубочной литературы.

<sup>6</sup> «Пригожая повариха» (1770) – повесть русского писателя и журналиста Михаила Дмитриевича Чулкова (1743 или 1744– 1792), в XIX в. стала одним из популярнейших лубочных изданий.

<sup>7</sup> Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1751—1828) и Подолинский Андрей Иванович (1806—1886) – второстепенные поэты своего времени, авторы текстов популярнейших в XIX – начале XX в. песен.

как ударят в чугунную доску – задрезежит звонило, инда в висках треснет, и уж не колокол – Божий глас, это гонят стадо с полей разревелся бык, ржет кобылица, звякает глухарь, гремит гремок, звенят бубенцы, раззвенелись бубенчики и сквозь звяк и рев свистит на ухо птица, свистит-пересвистывает, экая глупая!

С остервенением, оглушенный свистом, вскакивает Стратилатов на ноги, протирает слипшиеся мутные глазки, крестится:

– Господи, возвах! – и, сплюнув на расхрапевшуюся Агапевну, снова завалится на продавленную теплую кровать: – Ну еще посплю маленько!

И спит тихо и мирно плотным крепким сном.

– Вот, Борис Сергеевич, – не раз жаловался Иван Семенович своему приятелю Зимареву, – старуха у меня Агапевна убийственно храпит, точно фельдфебель, не могу выносить: у меня сон тонкий, будкий, вообще люди образованные не могут этого переносить.

Но что поделаешь, тут и сам Зимарев, даром что помощник секретаря, и всякую древность определить может, и год и число ей скажет, да против природы и он бессилен. Против природы не пойдешь!

– Ты, старуха, хлеба много ешь, – примется выговаривать Иван Семенович.

– Так, батюшка.

– Это от хлеба.

– Так, батюшка.

– На меня еще подумают, и пойдет худая слава: хорош, скажут, чем занимается!

– Так, батюшка.

– Тебе грешно будет, ведь это смертный грех!.. Ты хоть бы попридержалась.

– Хорошо, батюшка.

И вот из преданности ли, не смея ли ослушаться приказаний, или из страха смертного греха пробовала старуха попридерживаться. И минуту-другую еще кое-как с грехом пополам стерпит, зато уж после как пустит – такой храп, такой свист, у соседа Тарактеева каменный дом, и то слышно!

Беда с Агапевною, и смех и грех.

– Агапевну я решил рассчитать, – опять жаловался Страдилатов своему приятелю Зимареву, – выдумала старая: с печки сверзилась, по прямой дороге идти не может, лезла на лежанку, свалилась, чуть меня не зашибла, с этакой высоты!

И, вечно жалуясь и зарекаясь по конец веку своему, не станет он держать Агапевну, Иван Семенович все-таки и представить себе не мог, как бы расстался он со старухой. Нет, Агапевна прижилась к дому, Агапевну все углы знают, и Агапевна все знает, что надо ее барину Ивану Семеновичу. Расстаться с нею так же трудно и, кажется, просто невозможно, как трудно и невозможно покинуть низенькие крохотные комнаты дьяконского дома, где похоронил он свою мать, женился и где, как и все люди, хотел бы со временем Богу душу

отдать. И если бы даже под сердитую руку, выведенный из себя и, может быть, действительно оскорбленный, прогнал бы ее, то все равно, на другой, ну на третий день, а уж непременно бы хватился ее, вышел бы вот так в сумерки на крылечко и покликнул бы:

– Агапевна!

– Я, батюшка.



## ГЛАВА ПЯТАЯ

Бульвар – место общественного гулянья. На бульваре Стратилатов свой человек. С препятствиями или спокойно и ровно, но всякий день, выспавшись после обеда до семи, в семь отправляется Иван Семенович гулять на бульвар.

Порасправившись на свежем воздухе, усаживается он где-нибудь на скамейку между рестораном и эстрадою, и сидит, развалиясь, как на тех предательских высоких подушках золотой колымаги императрицы Елизаветы Петровны, и не шелхнется, млеет или насвистывает, помахивая перед собою тросточкою, в приятном ожидании с одною мыслью: не пора ли чай пить?

Проходящим по боковой аллее видна его серая жокейская шапочка с пуговкою да лопухатые заостренные кверху уши, беспокойно вздрагивающие всякий раз на шорох женского платья.

Не то в воскресенье, когда вечером на бульваре играет музыка. Музыка трогает Стратилатова до слез, от музыки он впадает в раж, минуты, кажется, не посидит спокойно, а если и присядет, то сейчас же встанет и пошел ходить. И что хочешь делай, хоть ножом режь, бегаешь взад и вперед. К мысли о чае: не пора ли чай пить? присоединяется пробужденное под музыку в его неутомном сердце неутомное желание, о котором он высказывается лишь в трогательные минуты

дружеских излияний и которое ничем не выгубишь: найти среди гуляющих такую молодую хозяйственную девицу, которая полюбит его бескорыстно. И он бегаёт, как сумасшедший, будто безглазый, в своих темных очках, как-то носом, что ли, высматривая в нарядной примелькавшейся толпе ту, которая полюбит его бескорыстно, выкликая ее и вышептывая.

Когда сгущаются сумерки и зажигается, затейливо повешенная на проволоке между рестораном и эстрадою, знаменитая лампочка, бульвар оживает. Набираются шумно городские сорванцы и гуляки, и за крикливою сворою по следам ее входит что-то подозрительное и скандальное, и бульвар принимает ту вечернюю воскресную выправку, которая сулит мордобой и участок. Одобрения и неодобрения начинают высказываться так громко и беззастенчиво, что хоть караул кричи – тут кавалер какой-то бросил барышне на колени зажженную бумажку, и та завизжала, словно перерезали ей горло, там другой кавалер ущипнул незнакомую даму, и опять крик. Крики, хохот, смешки, шутки, шалости и дурачество.

Стратилатов втирается в самую толчею и, окруженный молодежью: писарями, канцеляристами и всякой мелочью, балагурит на свою излюбленную тему и, дойдя до крайности в неистовстве своем, ржет. Но и в неистовстве своем под разгонную отчаянную музыку осипших инструментов, под пьяные выкрики из ресторана, под обрывки визгливых купле-

тов надоедливых, повторяющихся и каких-то пропащих вроде тех, что поются у нас из году в год:

А это затмение было в кабаках,

А это затмение было в кабаках, –

среди всего этого пропащего затмения и искрою пробегающего тут и там самого безобразнейшего скандала Стратилатов и в черной толпе ищет среди гуляющих ту, которая полюбит его бескорыстно, выкликая ее и вышептывая.

– Я кавалер, – говорит про себя Стратилатов, когда в понедельник начинают в суде прохаживаться на счет какого-нибудь бульварного происшествия, – я не позволю себе, не бриторылый лоботряс, не мальчишка я, Забалуева сын, Забалуев.

Нагулявшись вдосталь на бульваре, к десяти возвращается Иван Семенович домой чай пить.

Стратилатов любит чаю попить, пьет его помногу, не спеша, крепкий, как чернила, с панским вареньем, а чаще с медом – с липовым протопоповских сотов отца Пахома. Если случится гость, он всегда рад гостю, предложит стакан, угостит, потолкует, покажет редкости и честь честью проводит до двери. Гости долго у Стратилатова не засиживались: напился чаю и ступай.

За самоваром, как выходить седьмому чайному поту, появляется музыка: Стратилатов на гитаре мастер, да и петь,

хоть голос не ахти какой, худо не худо, поет с чувством, с толком и страстью.

Гляжу, как безумный, на черную шаль,  
И хладную душу терзает печаль... –

поет Стратилатов, бренчит гитара.

С умилением слушает Агапевна.

– Что, хорошо?

– Хорошо, батюшка, уж так хорошо, страсть как.

– То-то.

Что он ходит за мной,  
Всюду ищет меня  
И, встречаясь, глядит  
Так лукаво всегда?...<sup>8</sup>

поет Иван Семенович, бренчит гитара.

Слушает Агапевна, пригорюнилась старая, слеза прошибла, плачет.

– Что, хорошо?

– Уж так хорошо, страсть как.

– То-то.

В будние дни пению уделяет Стратилатов малый срок – в будни дела, да и не время, зато в воскресенье уж сколько

---

<sup>8</sup> «Что он ходит за мной...» – романс И. Н. Васильева на слова Ю. А. Нелединского-Мелецкого.

душе угодно и до прогулки и после прогулки – весь день, будто в радости, поет песни.

Наверстывается ли суббота, а в субботу, отстояв всенощную и не заходя домой, отправляется он на бульвар, с бульвара в Денисиху – в Денисихе такие *дома беззакония* – и, пробыв там час, другой, прямо ложится в постель, или еще по какой никому не ведомой причине, только в воскресенье после заутрени в Прокопьевском и поздней обедни в Зачатьевском пении конца нет. И если уж сравнить, то, не в обиду будь сказано, соловьем заправским, курским соловьем заливается Иван Семенович, и весь дом всехсвятского дьякона, словно лес по весне, оглашается пением. Беспрепятственно, как по указу, проникает песня за стенку к надзирателю и вьется ласточкою у всехсвятского алтаря над могильными крестами.

– Что, хорошо?

– Хорошо, батюшка, уж так хорошо, страсть как.

– То-то.

Кроме Агапевны, одно время непременно слушателем стратилатовских песнопений состоял некий художник из Петербурга, говоривший на пяти языках, как сам о себе славил.

Появился этот Шабалдаев, или, шут его знает, как его по-настоящему, нежданно-негаданно, и прямым путем с пристани к Стратилатову. Похвалил его редкости, удивился его познаниям и начитанности, вкусу и соображению и расположил таким образом. Похвалой и города берут. А кроме того,

хоть и не обидел Бог художника, дал ему росту, но во всем прочем пренебрег – вид совсем не художественный, гунявый какой-то, жалкий, ну, пиджачишка, правда, франтоватый и воротнички и малиновый бархатный жилет, да все такое поистертое и поистрепанное, под мышкою портфель с картинами.

Русский человек жалостлив, разжалобился Иван Семенович. А тот лисицей. «Я, говорит, не постесню вас: сам лягу на лавочку, хвостик под лавочку, а портфель под печку». И оставил его ночевать. Ночь переночевал, а уж там, метлами гони, не уходит. Так и водворился.

А прожил неделю-другую, обжился, обтерпелся, оправился – брехун и хвастун, за милую душу обойдет и в дураки поставит, и такой плут – так и лезет в ухо, вот какой художник!

Иван Семенович на службу, а тот себе по городу шастать, будто картины писать, и хоть никогда кисти в руках не держал – в портфеле-то оказались одни картинки, вырезанные из «Нивы», а все-таки за художника его все принимали.

Народ у нас робкий и опасливый.

Стратилатов, однако, скоро раскусил своего сожителя и большое находил удовольствие выводить его на свежую воду, а кстати и поиздеваться. Хвастал, например, художник, будто на пяти языках говорить может, да похвальбой не города брать, – похвальба хлопушка, хлопнул и нет ничего, оказалось ведь ни уха ни рыла ни в чем не смылит, кроме разве брехни своей дурацкой. Хоть и правда говорится, что

бреднею свет пройдешь, а поставит ему Иван Семенович какой-нибудь вопрос по русской истории – в каком, мол, году Тушинский вор короновался или чтобы перечислить всех бывших на Руси скопцов митрополитов, – тот и начнет вилать, и сколько ни ссылается на какую-нибудь там княгиню Конкратову, у которой он будто бы принят как свой человек, да на свои знакомства со всякими петербургскими сановниками, художниками и писателями, припертый к стене, в конце-то концов прикусит язык. Гнать бы его тут в хвост и в голову вместе с его портфелем, но Иван Семенович не гнал, а держал при себе и большое находил удовольствие, затевая споры, выказать свое превосходство.

Уж через какой-нибудь месяц Стратилатов говорил ему «ты», затем стриг его, причем выделявал самые различные прически от языческой – язычником, которого св. Владимир крестил, и *каторжной*, выстригая всю левую половину, а к правой не прикасаясь, или, наоборот, левую не тронет, а правую начисто всю выбреет, до *французской* по картинке, под какого-нибудь графа де ла Гарта или прямо под Наполеона, и всегда таскал с собою на прогулку.

– Для оттенка вожу, – пояснил Иван Семенович, – девицы посмотрят, сравнят, кто лучше.

Спал художник в гостиной на сундуке – портфель под голову, за одеяло пальто, а вместо подстилки какие-то ваточные вещи Агапевна доставала. Всякий раз, отходя ко сну. Иван Семенович сначала крестил его, затем напутствовал и

всегда в одних и тех же выражениях:

– Ты смотри, шут гороховый, внизу-то там книги, а ведь ты слабый человек, взять с тебя нечего!

С год прожил художник у Стратилатова, сопровождая своего благодетеля на прогулках и слушая его пение. И ведь до чего дошел человек, там где-нибудь в Петербурге, может быть, и вправду втирал очки тем же сановникам, писателям и художникам – мало ли дураков на земном шаре! – да и тут крутил и все его как-то опасались, а перед Стратилатовым в бараний рог согнулся. Вздумалось Ивану Семеновичу, чтобы величал он его не иначе, как *деспотом* – деспот, мол, Иван Семенович, – так и против этого не восстал.

– Познай грех свой и безумие, мошенник, – скажет, бывало, Стратилатов, – я твои все пять языков покорю.

– Покоряйте, деспот Иван Семенович, воля ваша.

– В тюрьму тебя засадить, шельмеца, в подтюрьмок.

– Сажайте, деспот Иван Семенович, воля ваша.

– Потрясешь там своими бубенчиками, жульник.

Художник на все соглашался.

Такое послушание объяснялось очень просто: ведь как-никак, а благодаря Стратилатову был у художника и даровой ночлег и стол – обстоятельство очень важное, и при нужде из-за одного этого на все пойдешь. Но куда бы он без гроша сунулся, кто б его пустил к себе с его дурацким портфелем? Правда, места не пролежит, да ведь по нынешним временам всякого оторопь возьмет: а что если в портфелиш-



ке-то не картины, а разрывная бомба или какой-нибудь гремучий студень лежит?

Народ у нас робкий и опасливый.

Как неожиданно-негаданно появился этот Шабалдаев, или, шут его знает, как его по-настоящему, так и исчез внезапно. Полюбился он члену суда – был такой пьянчушка, член в нашем суде Просвирник, а полюбился за то, что пьет здорово и просить себя не заставит, так рюмка за рюмкой без закуски. Пили они раз у Бархатова, и напился этот член до упаду, брякнулся спьяну наземь и стал на четвереньки, никак не может подняться, хоть ночуй в участке. Довел его художник до квартиры, получил в благодарность сто рублей взаймы, да и был таков. И сколько ни искали, ни тела, ни костей его не нашли.

Всегда с удовольствием вспоминал Стратилатов своего сожителя, и никакого дела ему не было, что сожитель-то во все и не художник, как впоследствии оказалось по справкам, и не сыскной агент, как рекомендовал сам себя полицеймейстеру Жигановскому, а вообще личность темная и притом турецкий подданный. Все равно, турецкий подданный или художник, из Петербурга он или из Риги, безразлично, ведь больше уж не было никого под рукою у Стратилатова, кто бы, кроме Агапевны, так внимательно слушал его пение, не было человека, перед кем можно было бы так легко развернуться вовсю и безотпорно.

Не так давно сдружился было Иван Семенович с регентом

Ягодовым и большого дал маху, уж думал, и жив-то не будет, и небо-то ему с овчинку показалось тогда, – попал впросак, что говорить.

Не хуже того художника, как снег на голову, свалился Ягодов в наш город и сразу всех с толку сбил. Его визитная карточка, ходившая по рукам, производила на всех весьма сильное впечатление.

«Композитор церковных песнопений, санкционированный Святейшим Синодом, имеющий знаки отличия и прочая, А. К. Ягодов» – вот она какая карточка!

- Шутка ли, санкционированный святейшим синодом!
- Пять золотых медалей имеет!
- Достали-таки мы себе человека!
- Сто двадцать пудов одних нот привез!

Так и этак рассказывалось на всех перекрестках. Потирали руки от удовольствия: церковное пение у нас любят и регентами дорожат.

Обойдя достопримечательности города, после монастырей Прокопьевского и Зачатьевского, после бульвара и трактира Бархатова регент зашел к Стратилатову. Явился он весь в медалях, показал свою визитную карточку и воспламенил Ивана Семеновича. Забренчала гитара, пошло пение: пускай, дескать, умный человек голос попробует! – так думал Стратилатов. И не ошибся: регент слушал внимательно, прослушал несколько песен и, снова для внушения, должно быть, показав свою карточку, одобрительно потрепал по пле-

ши Ивана Семеновича.

– Не велик у вас голос, – сказал регент, – потому что не работали над развитием голосовых связок, вторым тенорком петь можете.

И с тех пор повадился таскаться к Стратилатову и все будто пение слушать. Слушал не больно охотно и сколько раз даже прекратить просил, а между тем, под предлогом развития голосовых связок, требовал себе вознаграждения. Иван Семенович не ласково, но все-таки давно давал регенту двадцать одну копейку, ровно на косушку без посуды, а затем стал отвиливать и вовсе отказал. Но не в этом заключалась вся беда регентских посещений. Бог с ним, с вознаграждением, – изредка, ну раз в месяц, Иван Семенович, пожалуй, и дал бы двадцать-то одну копейку, не разорился бы, не в этом дело: регент всякий раз смущал его своими разговорами и наводил на грех.

В одно из первых регентских посещений Стратилатов, выкладывая перед гостем всю свою ученость, заговорил о Пушкине. Регент же помнил всего-навсего одну «Птичку», но не пушкинскую, а которую еще в школе пел: «Ах, попалась птичка, стой!» – да и ту наполовину, в чем не преминул чистосердечно признаться. И все это оказалось кстати и впроу – ведь Стратилатову только того и надо: желая показать свое превосходство, приналег он на Пушкина, насказал стихов много и все, как сам выражался, *эротических*.

– Пушкин, – сказал в заключение Иван Семенович, – хо-

роший человек, да погубил свою душу «Гаврилиадой».

Вот уж истинно – слово не воробей, выскочит, не поймашь: сказал Иван Семенович о «Гаврилиаде» и промахнулся. Регент почему-то заинтересовался, стал расспрашивать и, узнав суть «Гаврилиады», уцепился обеими руками – с ножом к горлу пристал: дай ему переписать. Не желая входить в какие-либо препирательства – ведь не только рассуждать, но и думать о «Гаврилиаде» Стратилатов до смерти боялся, – вытащил он из шкапа синюю страшную тетрадку и дал ее, чтобы только отвязаться. Дал и уже окончательно завяз, попал в ловушку и не выскочишь. Регент не только переписал «Гаврилиаду», но и на зубок ее всю выучил, да и давай с тех пор перед Иваном Семеновичем на память стих за стихом точать: придет вечером чаю попить, возьмется за стакан, и уж с языка не сходит она у него, и хоть бы запнулся разок, нет, слово в слово, буква в букву. Иван Семенович и не знает, что ему делать, за что и взяться, прямо невтерпеж: и в жарто его бросает, и пот прошибает, и ерзает-то он, а поделать ничего не поделаешь: назвался груздем, полезай в кузов.

– Тебя, регент, – отмахивается Иван Семенович, – тебя за это живьем на угольях изжарить, вот что, как князя Воротынского Иван Грозный изжарил, вот что, или в тебе Бога нет?

А тот себе бабкает-нашептывает, пропади он пропадом!

Истерзав «Гаврилиадою», регент принимался за философские рассуждения и опять нагонял такую чуму – прихо-

дилось туго. «Гаврилиада» из головы не выходила, а от философии голова трещала.

Сколько вечеров изводил регент Ивана Семеновича головолomным вопросом о четвертом лице Святой Троицы и о возможности ее пополнения – как сие возможно? – или о каком-то съезде двенадцати царей, которые станут искать правды и закона, зарытых в каком-то кургане под Полтавой, и когда откопают закон и правду, будут раздаваться даром сапоги и притом все на одну колодку и всем и каждому носить обязательно, хотя бы и не по ноге – как сие возможно? – или о каком-то *курином слове*, которое, если знать, так все тебе можно, и наконец, о надвигающейся комете, хвост которой заденет землю и в какие-нибудь полминуты все погибнут, и люди и звери.

– А как же Страшный суд, ты врешь, – упирается Иван Семенович, – годится ли этак делать, это не предусмотрено.

– Без всякого суда в полминуты, – стоит на своем регент, – от газов.

– От каких газов! – вскакивает в ужасе Иван Семенович.

– От газов, – тянет свое регент, – и никуда не скроешься, задохнутся без вина пьяные, без ума сумасшедшие, люди и звери одинаково, и останется повсеместно одна трава-крапива жгучка.

Ну как же тут не смутиться – комета еще что! – хуже бывала философия, вот хотя бы о том же *шишигином хвосте*: буд-

то закроет тебя шишига<sup>9</sup> хвостом и ты пропадаешь и, сколько ни ищи, не найдут тебя, да и сам себя не найдешь, или о каком-то всеобщем и обязательном и притом искусственном погребении вроде австралийского и все как-то сбивчиво, спутанно, неясно, непонятно и ровно что против веры – как же тут не впасть в грех?

Одна лишь случайность выручила из беды Стратилатова. В соборном хоре под управлением Ягодова участвовали гимназистки, и вот после двух-трех генеральных спевков поступила в церковное попечительство жалоба, что регент обращается с гимназистками не по-композиторски. Попечительство произвело расследование и после праздников уволило Ягодова за халатное отношение к делу. Воспользовавшись случаем, Иван Семенович тотчас раззнакомился с приятелем, – предлог был самый подходящий: и это халатное отношение, и то, что на регентской визитной карточке появилась совсем другая надпись: «Бывший паршивого соборного хора регент А. К. Ягодов».

Страшнее всякой кометы стал Ивану Семеновичу этот регент, – закаешься и дружбу водить, – добрым словом ни разу не поминал он приятеля. И пусть лучше одни враги будут и ты один останешься посреди травы-крапивы, так было отчаялся Иван Семенович.

Но сердце – не камень, в самое последнее время опять нашелся приятель, – Зимарев Борис Сергеевич, помощник сек-

---

<sup>9</sup> *Шишига* – черт, нечистая сила.

ретаря. Эта новая дружба возникла из побуждений совсем другого рода: о том, чтобы перед приятелем показать свое превосходство, не могло быть и речи, да и пение оставалось в стороне. Художник и регент, по убеждению Стратилатова, в подметки не годились Зимареву. Во-первых, Зимарев – его непосредственный начальник и защитник его перед секретарем Лыковым, во-вторых, такой знаток древностей, что любого ученого за пояс заткнет и, наконец, балагурств стратилатовских не поддерживает и в разговоры такие разные не вступает, будто золотом уши завешаны, а все по-умному и деловито, даже до чрезвычайности.

Сухонький, маленький, волос на голове совсем нет, когда ходит, левой ногой подпрыгивает, а как усядется рядышком с Иваном Семеновичем да уткнутся оба в какую-нибудь старинную рукопись или икону определяют, уши их сходятся – уши у Зимарева чуть разве чем поменьше стратилатовских.

С уважением относился Стратилатов к новому своему приятелю, ценя в нем и начальника, и ученого, и тишайшего скромника, советовался с ним, изливал свои горести и, хоть тот во внуки годится ему, смотрел, как на равного себе, пожилого, умудренного долголетним опытом, – словом, видел в нем себе ровесника, правда, плохо сохранившегося, но все-таки одних лет.

Зимареву, не в пример прочим гостям, полагалось немного посидеть и после чаю и хлеб ему подавался вкусный, настоящий ситный, а не такой, как другим, что и проглотить не

хочется – настоящий кирпич, и всякие крендели и витушки и варенье ставилось не заплесневелое, а то у Стратилатова варенья большой запас: которое заплесневевает, снимет плесень и расходует на угощение.

С течением времени Зимарев, подобно художнику и регенту, само собою попал как-то в непременные слушатели стратилатовских песнопений.

– Великое дело пение, – говорил Иван Семенович, как бы оправдываясь за свою страсть перед строгим, не издающим и мышиного писка, молчаливым приятелем, – одному петь невозможно, грустно одному, Борис Сергеевич.

Обыкновенно вечером после прогулки, напившись чаю и поиграв на гитаре, Стратилатов усаживается за книгу и читает до часу. Чтение историческое и стихи больше по душе ему в его одиночестве, чем повести и рассказы, которых знает он так много, что, право, и читать уже нечего. Любимые его поэты – Некрасов и Кольцов, но выше всех ставит он поэта, которому Фет передал свой *трепетный факел*, его считает он всемирным поэтом<sup>10</sup>.

– Ну и сан ведь высокий! – поясняет Иван Семенович, привставая всякий раз от избытка почтительности.

---

<sup>10</sup> ...поэта, которому Фет передал свой «трепетный факел» – Имеется в виду поэт К. Р. (великий князь Константин Константинович; 1858—1915). «Трепетный факел» – слова из посвящения, написанного Фетом на подаренном им К. Р. экземпляре сборника своих стихов (Фет А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 543).



Ровно в час закрывается книга, аккуратно ставится на полку либо в шкаф на свое место, и тушится лампа. Усердно помолвившись на сон грядущий перед *Грозным и Страшным Спасом*, перед Божьей Матерью – *Всех скорбящих радости* и поворчав для острастки на Агапевну, ложится Стратилатов спать, завершая молитвою и воркотнею свой трудовой одинокий день.

– Ведь вот уж я не то, что другой, – любит говорить Иван Семенович и сам с собою, сладко потягиваясь под одеялом, и знакомым своим среди белого дня в канцелярии, – кто бы в трактир, а вы посмотрите, сколько я перечитал, сколько собрал редкостей, и беспорочная служба, и тут и там успеваю, меня и шишига хвостом не закроет – не пропаду, потому что человек я хороший.

И говоря так, Иван Семенович ничуть не хвастал, да и всякий мало-мальски сведущий готов был обеими руками подписаться, что действительно шишига хвостом его не закроет и что человек он хороший. В этом роде все и высказывались, и только один-единственный раз начетчик купец Тарактеев, приятельствующий с Зимаревым по части нумизматики, человек смышленный и не дурак деньгу зашибить, не очень-то лестно отозвался о своем соседе, и на возражение Зимарева, что Стратилатов тоже ведь человек, усмехнувшись, сказал:

– Неужели человек? – и опять усмехнулся, – а я думал, – *шишимора*<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> *Шишимора* – здесь: невзрачная личность. В отдельных диалектах это слово

---

обозначает также нечистую силу (ср. с «шишигой»).

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Нынешняя весна выдалась особенная: заветная мечта Стратилатова устроить себе тихий семейный очаг готовилась осуществиться. Казалось Стратилатову, что нашлась та молодая хозяйственная девица, которая виделась ему в Денисихе, когда брал он за руку размалеванную Таньку *Мерина*, и слушала его, когда разливался он под гитару пуще соловья, и высматривала со всех открыток, старых портретов и гражюр, которую искал он, шныряя вечером по бульвару, среди гуляющих и гулящих, нашлась она наконец, недостижимая, недоступная, немислимая, которая полюбит его бескорыстно.

Нет, что хотите, а старик не спятил с ума, он только чувствовал, как все в нем обновляется и подтягивается: вместо малиновой плечи развеваются темные кудри, что так нудят девье сердце, и заголубели глаза, и стал он почти что стражник Емельян Прокудин, стройный такой, осанистый, бледнолицый с красными губами и только что шпор нет.

Выйдя поутру в обычный свой час, Стратилатов, сам не зная чему, вдруг обрадовался: тому ли, что с крыш потекло и галки на крыше и потемнела всехсвятская алтарная стена, тому ли, что дьякон Прокопий прошел в церковь совсем налегке в одном подряснике и лишь по привычке обмотал шею шарфом да нахлобучил меховую шапку, и пробежала

баба с коромыслом и ведром на церковный колодец в одном платье и козловых сапогах, и расходилась курица, кудахча: *куда-куда яйцо снести?* – или все тому же стражнику Емельяну Прокудину, который, стуча шпорами, прошел к надзирателю? Все его радовало и хотелось, чтобы все были рады. У каменного тарактеевского дома с высоким крыльцом он остановился было, чтобы дух перевести, и ему страсть захотелось подарить соседу какую-нибудь золотую редкую монету, ну *петровский двойной червонец*, что ли, только сейчас, сию минуту...

– «Господи, владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалаия и празднословия не даждь ми!..» – шептал Иван Семенович молитву преподобного Ефрема Сирина, следуя по Поперечно-Крошачьей на толкучку.

В свой обычный час явился Стратилатов в суд и много разных разностей принес в этот день с толкучки – улов старины выдался необыкновенно удачный.

Урвав минуту от переписки, опустил он руку за стул и, вытащив из груды покупок, сложенных в горке, несколько затейливых вещиц, положил их на стол перед Зимаревым, а из бокового кармана складень красной меди на самый верх.

– Есть девица хорошего роду, ваш совет не мешало бы, – наклонившись к самому уху соседа, зашептал Стратилатов пересохшими губами.

Зимарев покосился на разложенные вещи, красная медь складня кольнула глаза, и очки его вдруг потускнели.

– Вы, Борис Сергеевич, человек положительный, не так чтобы уж молодой, присоветуйте-ка мне: Надеждой ее зовут, у Артемия, старого покровского дьякона, живет, племянница.

А тот, утвердительно покачивая головою, бегал по складню своими тонкими пальцами, и перевертывал его, и к себе так близко подносил, словно обнюхивал.

– Дьякон-то пьющий, – продолжал Иван Семенович, – во время службы падает, а она тоненькая да беленькая, сиротка, сами увидите.

– Так, так, она самая! – Зимарев захлебнулся от удовольствия, забрало его за живое: складень оказался редкий, такого он давно добивался, везде разыскивал – это был наш русский Никола, простоволосый, с церковкою и мечом в руках *Никола Можайский*.

– Хорошего роду, племянница дьякона, деться ей некуда, тоненькая да беленькая... – Стратилатов поднялся со стула и от волнения стал гладить себя по плечи, минуту казалось, что он выкинет какую-нибудь самую неподобную штуку: либо удар его хватит, либо, обалдев, на стол полезет.

– Голгофа! – крикнул вдруг Адриан Николаевич, указывая на него волосатым перстом.

И поднялось в канцелярии то, что обыкновенно бывало всякий раз, как почему-либо являлся секретарь Лыков с запозданием: со всех сторон посыпались на Стратилатова дурачества и насмешки и пошли глупые выходки, фык и шмык.

– Эх ты, генеральский нос! – кто-то пискнул из пишущей машины.

– Никола Дуплянский! – отозвалось из коридора.

– Авария! – поддал пару безногий.

– Как твой бог поживает, здоров ли? – ввернулся писарь Забалуев.

– Видно, простудился! – хихикнул кандидат, сосед Зимарева.

– Гуся ел да попершилось! – отпустил Корявка.

– А я видел Ивана Семеновича с двумя девицами на бульваре! – перекинул другой кандидат от стола Адриана Николаевича.

– Неуемный бубен! – поддакнул Забалуев.

– Гекуба, – потянул своим хищным носом безногий, – фальшивый грош на тарелку положил!

И много еще всяких заковырок и шпилек подпускалось Стратилатову, но он, уж снова уткнувшись в переписку, слушал лишь краем уха и даже ни разу не огрызнулся, как огрызался в таких случаях, не сказал своего обычного: «Прошу вас заниматься делом!» – даже плешь не вспыхнула.

Адриан Николаевич, славившийся высоким искусством составлять прошения, никогда не остававшиеся без последствий, ибо отроду, должно быть, написано ему было заниматься таким художеством, закончил какую-то важную бумагу и, выставляя вперед клочковатую рыжую бороду, принялся читать ее во всеуслышание.

Само по себе торжественное, заканчивалось прошение не менее торжественно.

– «За неграмотную всеподданнейшую Ксению Федорову Пискунову, – смаковал безногий, отчеканивая слова, – всеподданнейше подписался столоначальник Адриан Николаев Хренов, с величайшим умилением всенижайше прошу к снисхождению моему горькому семейству заключающуюся именно я сам».

– Я сам, – залопотал Корявка, у Корявки язык будто в киселе и весь он какой-то слизлый, а голова беспросветно в подпитии, – я всегда сам! – и полез было с пером подписываться.

Но Адриан Николаевич, грозно подняв волосатый перст, выкрикнул в ярости и исступлении:

– Вставай же, поднимайся, пьяная развратная Русь, и принимай в объятия своих врагов!.. – и, отпихнув помощника, туго свернул прошение так, что слоновая бумага хряснула, и вдруг впал в то запойное благодушие, которое оканчивалось совсем неблагодушно.

В канцелярии тотчас все притихло и перья чуть-чуть скрипели, как бы боясь нарушить счастливую, обещающую большое развлечение минутку.

Подперев свою седую голову, затянул безногий любимую разбойничью песню – последнюю песню Ваньки Каина, и пел ее на голос, удалую, разгульную, бурную по-разбойничьи:

Не шуми, мати, зеленая дубравушка,  
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати!  
Что заутро мне, доброму молодцу, в допрос идти...

– Мирный тихий очаг... она тоненькая да беленькая, сиротка, деться ей некуда, – шептал Иван Семенович Зимареву, обсасывая, как ложечку с медом, стальное перо и, никого не замечая, видел лишь ее – *тоненькую да беленькую сиротку*, чувствовал и был на все готов; расходилось под песню сердце: и пусть она сердце его высосет и тело его иссушит...

И когда появился секретарь Лыков и с помощью сторожей, одноглазого Лукьяна и Горбунова, не прекращавший пение Адриан Николаевич заключен был в архивный шкаф и там, надрываясь, кричал на весь шкаф и потом начинал плакать, хныкал как дите, жалобно приговаривая, что надоело ему и тяжело жить, Иван Семенович расчувствовался, и стало ему жалко безногого.

– Плеть обуха не перешибет, Борис Сергеевич! – сказал он срыву и громко, метя в Лыкова, чего никогда бы не позволил себе, не будь такой сердечной минуты.

У Троицы у Сергия было под Москвою:  
Стояла новая темная темница;  
Во той ли во новой, во темной темнице  
Сидел удаленький добренький молодчик... –

протяжно плакал безногий.



Тут всех прорвало, лопнуло последнее терпение, кто-то фыркнул, и пошли хихикать да пересмеиваться. Не смеялся один Лыков.

– Удостойте переписать! – говорил он, обходя столы и подкладывая каждому кипу бумаг; ключ от архивного шкапа висел у него на мизинце.

Не смеялся и Стратилатов, любивший посмеяться над безногим, и не то чтобы прошло время, а такая, видно, выпала минута.

И за чаем, выказал он себя в этот памятный день тоже необычно: из своего синего мешочка потчевал он чиновников сахаром и неудержимо болтал всякую чепуху чепушистую, молитвенно с восторгом как-то произнося свои излюбленные ходовые словечки, как-то с умилением, точно слово Божие, либо высокие титулы высоких особ. Все естество его было переполнено.

– «Господи, владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!» – шептал Иван Семенович молитву преподобного Ефрема Сирина, вдруг останавливаясь на самых интересных местах, и снова пускался болтать еще чепушистее.

Все естество его было переполнено.

В первый раз увидел Стратилатов Надежду – предмет своей любви – летом на именинах у Артемия, старого покровского дьякона. Слаще меду и сахару показалась она ему.

– Молоденькая такая – шестнадцати лет – да тоненькая, а

как стали за ужин рассаживаться, расселась – полдивана заняла, на пальчике серебряный перстень с бирюзой, голубка гурливая! – так после передавал Иван Семенович свое первое впечатление.

Весь вечер он глаз не сводил с нее, подсаживался, смешил анекдотами, а стали в *салки* играть, ее одну салил, а в фантах, как набирать тройку, она сама его выбрала.

Встречались на бульваре – Надежда у портнихи Елены Антоновны работала и постоянно в воскресенье с мастерицами на бульваре прогуливалась, – гулял с нею. И лето, и осень, и всю зиму ухаживал.

Дальше да дальше, попался огонь к сему, залюбилась она ему, что банный пар, извелся и на себя не похож стал; и спать уж не спит по-настоящему, все ворочается, – тошно тому, кто любит! – одна она в мыслях, одну поминает, только ею и бредит:

– Голубка моя, гурливая!

Агапевна уж тайком кота завела. Приучила кота под кроватью ночевать, чтобы сон нагонял. Уляжется Иван Семенович, выгонит она Ваську из-под печки, пустит под кровать. А Васька такой воркотун, заведет свою песню: *вилы-грабли, сено клали* – чего еще? – спи, нет, все ворочается – тошно тому, кто любит! – одна она в мыслях, одну поминает, только ею и бредит:

– Голубка моя, гурливая!

Хуже того, как узнал про кота, целую бурю поднял:

– Не хочу, – говорит, – под *вилы-грабли* спать, не грудной я младенец, где увижу кота, тут и задавлю, кот весь дом опалит.

И действительно, Васька за короткий промежуток след по себе оставил; все корешки «Русской мысли» и «Вестника Европы» опалил, а по верхам шатаясь, задел и прихода-расходную книгу и кое-кого из красавиц.

Покорилась Агапевна, завязала Ваське глаза, отнесла на пустой двор, там и покинула.

Еще плоше дело пошло, постылы потянулись дни – вчерашние щи, третьеводнишная каша добрее! Стало Ивану Семеновичу по ночам представляться, будто не одна у него, а две головы – разветвилась шея на две жидких шеи и на каждой по голове болтается. Любовь-то безумит! И стонет он ночь по-медвежьи, хоть зови попа да отчитывай.

– Зачем так стонешь, батюшка? – окликнет Агапевна.

– Нет, старуха, пройду я по двору, и все прекратится.

И пойдет, выйдет во двор и прямо к рябине – рябина у могильных крестов – влезет на нее да сверху и станет спускаться вниз головою. Любовь-то безумит! И стонет он ночь по-медвежьи, хоть зови попа да отчитывай.

Болит сердце, печалью полна его грудь, одна она в мыслях, одну поминает, только ею и бредит:

– Голубка моя, гурливая!

Набралась страху Агапевна, тайком окуривала его ладаном, все боялась, не случился бы грех: подкараулит шишига

да хвостом его и закроет – наложит он на себя руки. Да Бог дал, все вдруг по маслу пошло.

На самую масленицу заходит Елена Антоновна, будто к Агапевне, и за чаем, расхвалив Ивана Семеновича за благообразие его и примерность, за жизнь его скромную и воздержанную, прошла насчет пьющего Артемия и сиротки его племянницы, которой деться некуда.

– Нечего вам одному век вековать, Иван Семенович, – турчала в уши Елена Антоновна, – вы еще молодцом, а от Агапевны у вас грибы по углам выросли; взяли бы к себе Надерку, все-таки молодой луч!

Предложение Елены Антоновны было по сердцу и под руку Стратилатову, но сразу решиться на такое он не мог: и сердце не терпит, и рад, и до смерти боится – пошли сомнения и не верилось.

– Молоденькая такая – шестнадцать лет – да тоненькая, а как стали за ужин рассаживаться, расселась – полдивана заняла, на мизинчике серебряный перстень с бирюзой, голубка моя, гурливая! – рассуждал сам с собою Стратилатов, нет, не верилось.

На первой неделе Иван Семенович говел и, приобщившись в субботу, послал на провед Агапевну к Артемию осмотреть племянницу: больше откладывать дела нечего, надумался и решил.

Ходила разведчицею Агапевна и вернулась с приятною вестью.

– Дюже хороша! Походка павлиная, разговор лебединый! – нахваливала Агапевна Надежду, как цыганскую лошадь, и, подливая масла в огонь, бесповоротно утвердила Ивана Семеновича в его решении.

Одна была остановка – сама Надежда: как посмотрит она на стратилатовское предложение и согласится ли переехать в дом всехсвятского дьякона Прокопия? Это последнее и непустячное дело взялась устроить Елена Антоновна.

Елена Антоновна и не за такое бралась. И уж в начале крестопоклонной недели все было устроено самым благополучным образом и без всяких, словно по щучьему велению.

В среду – в памятный для всех день – Иван Семенович признался Зимареву и закрепил тогда признание свое подарком редкого складня *Николы Можайского*, а в пятницу, показывая какую-то старинную вещицу с толкучки и, по обыкновению, наклонившись к самому уху, сказал, придавая голосу особенную деловитость:

– Надежда согласилась, сегодня переедет! – и, не сдержав уж чувств своих, распустился в такой павлиний хвост, что сам Лыков, принимавший бумаги, улыбнулся.

Нет, что хотите, а старик не спятил с ума, он только чувствовал, что уж не в состоянии высидеть до конца в длинной низкой закопченной канцелярии, что не место ему тут за большим, изрезанным ножами столом, а там – на воле, где вот тронется-пойдет река, и шумят приречные ракиты, и чернеют болотные кочки, и птицы летят. И он в первый раз

за всю свою сорокалетнюю беспорочную службу, под предлогом внезапного внутреннего расстройтва, ушел из суда на двадцать три минуты раньше срока, причем о этих незаконных двадцати трех минутах заявил от полноты чувств своих не только Зимареву, что, пожалуй, и полагалось, но и писарям, Корявке и Забалуеву, и сторожам, Лукьяну кривому и Горбунову.

Из суда Стратилатов повернул не направо, к Поперечно-Кошачьей, а налево, к Покровской – в сберегательную кассу, и, положив шестьсот рублей на имя Надежды, с облегченным сердцем пустился домой. Его тяжелые огромные калоши саженями скрадывали пространство. Он мчался во весь опор, так не то черт, птица не поймает. Жилистые тоненькие ножки горели, а пестрый платок, торчал красным ухом – то и дело вынимал его Иван Семенович и обтирался. Проворно поднявшись на крыльцо, крепко ударил он кулаком в дверь, и, не передохнув, снова ударил, и ударил в третий раз – сидела на дворе куча воробьев, всех спугнул.

– Кто, батюшка, кто? – зашамкала за дверью Агапевна.

– Я, старая, отпирай.

Весь горел от нетерпения и все второпях, и обедал Иван Семенович на скорую руку, все на часы посматривал – Елена Антоновна обещала привести Надежду к вечеру, а уж темно. И спать не лег.

Белая лебедь не раненая, не кровавленая будет у него живьем в руках, а как миловать ее будет и жаловать!

– Мно-о-о-гая, мно-о-гая лета! – бурчал себе под нос Стратилатов.

Да и не заснешь, пожалуй. Колченогой железной кровати не было, еще утром унесла ее Агапевна в сарай. На ее месте стояла широкая кровать красного дерева с бронзовыми маленькими крылатыми львами и венчиками, а вместо продавленного тюфяка подымался пружинный матрац, правда держаный, но зато совсем как новенький, алое пушистое одеяло и гора белых подушек.

Белая лебедь не раненая, не кровавленная будет у него живьем в руках, а как миловать ее будет и жаловать!

– Мно-о-о-гая, мно-о-гая лета! – бурчал себе под нос Стратилатов.

Как на Рождество и Пасху, все было прибрано и вымыто, с картин стерта пыль и снята паутина, и, кажется, не осталось в целом доме ни одного паучка. Не день, видно, месяц шли приготовления.

В гостиной в чудесное зеркало отражался шестнадцать раз белый, покрытый камчатною скатертью стол, круглый медный поднос с *косичкинскими* и *хаминовскими* сладстями и *чупраковскими* пряниками, и рядушком с стратилатовскою на раззолоченной решетке чашкою, вмещавшей в себе добрых два стакана, заветная чашка – яйцо на куриных ножках с золотым крылом вместо ручки.

Агапевна хлопотала на кухне, возилась с пузатым никелированным самоваром, рыжий стратилатовский сапог ухал от

натуги.

Иван Семенович поправил лампадки, перетащил укладку с серебром на сундук с книгами, положил в укладку книжку из сберегательной кассы – шестьсот рублей, запыхался, раскрыв красный шкаф, сунул в карман печать свою – *от оного свое начало все восприяло*, бережно вынул золотые туфельки и, присев к столу на царское кресло, тихонько стал их на коленях у себя повертывать, словно прилаживая к маленькой ножке, непослушной такой и брыкливой, золотые туфельки.

Скажи только, что хочешь, он все отдаст, будет дарить, будет охранять на вечные веки телом, кровью и жизнью, скажи только, что хочешь, будет служить верно и вечно, белая лебедь не раненая, не кровавленная, белая лебедь!

– Мно-о-о-гая, мно-о-гая лета! – бурчал себе под нос Стратилатов.

Теснее и теснее становилось ему в его заставленной, хоть и вымытой, вычищенной и без единого паучка, комнате. Душно становилось в комнате, как в пауцином гнезде, душило нетерпение, как тот гнев, что не уложишь, меч, что не уймешь, огонь, что не угасишь, а сердце, прядя волну за волною, в пылу и трепете заплывчивое, неуимчиво искликало и иззывало...

По-весеннему уж синел вечер на воле, темные на талом снеге высматривали кресты от всехсвятского алтаря, черный ворон верный сидел на кресте. Два луча от лампадок – от Спасителя и Богородицы, – скрестившись на золоте туфелек,



горели багряною звездою.

Все естество его укреплялось и утверждалось и, как крепкое дерево под крепкою бурей, упорно уходило в глубь земли железным корнем, богатырский костяк вырастал в нем.

Вспомнил ли о чем, или спохватился, или кровь разыгралась, выронил он тувфельки, встал, и, заложив большие пальцы в карманы жилетки, будто безглазый в своих темных очках, уставился на себя в зеркало, и, отраженный шестнадцать раз, улыбнулся – так улыбнулся, что большой белый зуб сверкнул в углу рта, – пуще смерти истома...

В шестнадцать лет невинное смиренье,  
Бровь черная, двух девственных холмов  
Под полотном упругое движенье... –

шептал он, не переводя дух, стих за стихом из страшной синей тетрадки, а два луча от лампадок – от Спасителя и Богородицы – скрестившись на его голове, горели багряною звездою.

Погас синий вечер на воле, потемнел снег, почернели кресты, черный ворон верный перескакивал с креста на крест, а он, не переводя дух, шептал стих за стихом, и два луча от лампадок – от Спасителя и Богородицы – скрестившись на его голове, горели багряною звездою.

И вдруг словно со всех сил ударил его кто: зажмурившись и согнув шею, присел Иван Семенович на корточки – шестнадцать раз за его плешью выглядывала Агапевна.

Прошибла старуху слеза, заслушалась стихов, как пения, плакала:

– Уж так хорошо, батюшка, страсть как!

И долго Иван Семенович не отзывался – дух захватило, – долго не раскрывал глаз; мотая головой и обороняясь, поднялся он наконец злее зла.

– Старуха, – захрипел вдруг, словно из петли, – вон! административным порядком вон в двадцать четыре часа!

Покорно низко поклонилась Агапевна, высохли слезы.

– Прощай, батюшка! – и пошла.

# ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Шила в мешке не утаишь. Сколько ни старался Стратилатов скрыть счастливую перемену своей жизни и как ни хитрил, скоро о ней стало всем известно.

– Радуется двор, когда рои роятся, радуется поле, когда распускаются цветы, радуется гумно, когда хлеб молотят; и человек, когда он счастлив! Виден сокол по полету! – признался как-то сам Иван Семенович.

Дождались Святой недели, разговелись, и уж на разговинах все знали, что живет у Стратилатова Надежда – Артемия, старого покровского дьякона, племянница, и что живут они, как в самом настоящем, только незаконном браке; он ее называет *индюшечка-капуничка*, она его – *херувимчик*.

Кстати и некстати начали поздравлять его и в выражениях, хоть и изысканных и почтительных, но не совсем удобных, а в отсутствии секретаря Лыкова предлагали самые что ни на есть стратилатовские вопросы, касающиеся его счастливой семейной жизни и тех счастливых мелочей ее, затрагивать которые считается вообще непринятым и, кроме того, неприличным.

Сходились чиновники из всех отделений суда и толпою и в одиночку – одни похихикать, другие же просто глазком взглянуть, даже из архива приходили, а уж в архиве, известно, одни архивные. Интерес был так велик, так всех занима-

ло, что позабылись не только все правила благопристойности, но и всякие исключения.

Стратилатов сначала отшучивался, потом дулся и крепился, потом вышел из себя и стал объясняться. И по его довольно-таки сбивчивому толкованию выходило совсем наоборот. Надежда будто бы поместилась у него на место Агапевны и больше не по чему, Агапевну же он давно собирался вытупить за всякие злонамеренности – от старухи развелись грибы по углам, и храпит она, как фельдфебель, и одушливая – кашляет, и завела было кота Ваську, чтобы спать под *вилы-грабли*, но что он не такой, как все, и ничуть не похож на охаверника Забалуева писаря, а потому никогда себе не позволит как дурно, так и безнравственно поступить с сироткою-племянницею дьякона Артемия, которой всего шестнадцать лет и деться ей некуда, и все, кому приходит гнусная мысль о нем, просто-напросто с своих же гнусных мыслей все сочиняют.

– Свины полосатые и больше ничего! – заканчивал Иван Семенович, и пот градом лил с его лысины.

Но из этих объяснений, завершившихся свиньей полосатой, путного ровно ничего не вышло, только совсем уж втяпался. Подняли его на смех, ведь улики все налицо!

Из суда по дороге домой всякий день заходил он к Косичкину, либо к Хаминову, либо к Чупракову и накупал сластей, конфет, пряников, чего в прежнее время никогда не позволял себе, в субботу после всенощной ни на бульваре,

ни в Денисихе больше не показывался, что вызывало большое неудовольствие той же Таньки *Мерина*, в воскресенье уходил с бульвара еще засветло и вовсе не дожидаясь разгонного марша, наконец, кровать красного дерева с бронзовыми маленькими крылатыми львами и венчиками, заменившая его старую колченогую, и нежные, прямо райские чаепития на крылечке с Надеждою, смутившие и вогнавшие в краску самого Забалуева, а Забалуев, как известно, хорошему тону, изящным манерам, светскому обращению и танцам обучался ни больше, ни меньше, как в Денисихе. Что теперь станешь говорить?

Случай же, происшедший на Ивана Купала в день ангела Ивана Семеновича – столкновение его с всехсвятским дьяконом Прокопием, – и слепому глаза открыл. А столкнулся он с дьяконом по сущему пустяку.

Ни в одной церкви нет такого стечения богомольцев, как за поздней обедней у Всехсвятской. Валом валит народ, доктору нет, ровно в Прокопьевском, когда поднимают чудотворную икону Федора Стратилата, и не протолкаешься. Много народа съезжается и сходится не только городских, но и подгородних и даже из дальних деревень. В церкви тесно, стоят и на паперти, и в ограде у церковного колодца, возле стратилатовских грядок, немалая толчея.

Всехсвятская церковь древняя *обыденная* – в сутки выстроена миром по обету после чумы, служба долгая, пение

хорошее, отец Михей видный, истовый и речистый – брюхо выше носу подымается. Все это верно и правильно. Привлекает же богомольцев дурочка *сестрица* Матрена.

Бывают такие люди – и совсем невзрачные и с лицом самым заурядным, но стоит им улыбнуться, и все их черты станут прекрасными, и, глядя на них, становится легко и весело, или войдет такой незаметный совсем, а заговорит, и притом самое простое и немудреное, и вдруг как-то вырастет, и от слов его как-то просторно тебе, а то бывают и такие, только взглянут – взгляда довольно, и становится легко и весело. И вот эта-то радость, которою полны улыбка, слово и взгляд, должно быть, и привлекает к себе. За такими идет народ.

Дурочка Матрена не молоденькая – лет тридцать ей, не меньше, но личико у ней детское, а когда морщится, точно какого-то зверка напоминает, белку, вот кого! Платья на ней яркие – то голубое, то алое, то канареечное, то пунцовое, на голове теплый платок, серый, пушистый черными кругами, а как спустит его – закроется вся, даже жутко станет.

Еще обедня не отойдет, выйдет она в ограду, сядет на камень у колодца, а за ней народ. Окружат ее: кто перекрестится, копейку у камня положит, поклонится и опять станет, а кто так стоит, смотрит. Ждут. Сидит она на камне – глаза у ней светлые, ну, право же, каждый зверек, каждая птичка, солнце, дождик, звезды, луна завели бы с ней ласковую беседу, как с малыми ребятами.

– Сестрица! – вдруг заговорят из толпы.

И она примется рассказывать и, словно от какой-то большой радости, как дети, запыхавшись, то торопится, то протягивает, путает, но от каждого слова легко и так, что кажется, и траве, и камню, и воде легко.

Рассказывает она из житий и Евангелия, о Рождестве любит рассказывать, как вела звезда волхвов: заснут волхвы, и звезда заснет.

– Не проспите свою звезду! Или уж нет звезды?

– Видим, сестрица!

– Помоги нам, сестрица!

– Вон она, сестрица!

А то сказку заведет про козу – которая все есть просит и сколько ее ни корми, все голодна, и о петушке, как петушка лисица горошком заманивала, чтобы только в окно петушок выглянул, а горошек-то вкусный, а зубы-то у лисы острые, и опять про козу, как бежит она за кленовым листочком полбока лупленая, и какие такие люди есть – облупили полбока козе – свистуны люди, как сохлые листья, сгребет их дворник и в яму, и опять о петушке: обманула горошком лиса, унесла петушка и съела, и вдруг про реки, как текут они полноводные, сильные, как серебро, светлые да гульливые, ни песками, ни кореньями, ни камнями не держатся, и про птиц, какие они птицы – голуби.

– Реки текут, сестрица!

– Голуби птицы, сестрица!

– Ты наша, сестрица!

И опять про козу: пасет ее старая-престарая старуха, и не знает старуха, что ей делать, мало у ней хлеба, а все есть просят, все голодна коза.

– И я не могу накормить вас, а ведь вы голодны!

– Мы сыты, сестрица!

– У меня и ложек не хватит... – а сама глядит, улыбается, алый румянец покрывает бледность, и становится легко и так, что кажется, и траве, и камню, и воде легко.

– Спасибо тебе, сестрица!

– Не покидай нас, сестрица!

– Ты наша, сестрица!

Стратилатов возвращался от поздней обедни – в день своего ангела он находил более уместным помолиться не в Зачатьевском, а у Иоанна Предтечи – настроение у него было самое именинное. Протолкавшись сквозь толпу, он тоже остановился неподалеку от камня.

Дурочка уж кончила рассказывать – стали понемногу расходиться, – она сидела неподвижная, как камень, с плотно закрытыми глазами, и вдруг камнем упала на землю. Кто-то бросился за водою, чтобы подать ей напиться, но всем хорошо было известно, что она просто дурит и представляется и будет биться и стонать до тех пор, пока дьякон Прокопий не принесет ей воды.

– Уж впрямь дурья порода! – сказал какой-то косоглазый в поддевке.

– Камнем вас там окаянных надо! – отозвалось с другого



конца.

– Села баба на кота, поехала до попа... С днем ангела, Иван Семенович! – подмигнул проходивший с барышнями фельдшер Жохов, приятель Забалуева.

Иван Семенович кивнул фельдшеру, благодушно рассматривая дурочку.

И когда явился дьякон с ковшом, она как ни в чем не бывало поднялась с земли и, жадно выпив полный ковш, так стала уморительно морщиться, нос морщила, что, глядя на нее, все точно так же носы заморщили.

– А кого ты, Матрена, во сне видела? – с улыбочкой пристала дьяконица.

– Дьякона.

– А как же ты, милая, его видела? – не отставала дьяконица.

– А видела я, – почти пропела дурочка и вдруг закрылась вся своим серым пушистым с черными кругами платком, – видела я, будто купаемся...

Взрыв хохота заглушил слова, во всю мочь гоготал дьякон, пищала дьяконица.

– Бывает же такая погань, – с омерзением сказал Стратилатов, – к духовному сану никакого уважения! – и, плюнув, пошел к грядкам.

– А твоя Надерка шлюха гулящая! – пустил дьякон, гогоча вслед, уж так разыгрался.

– А вот я тебя, дьякон, застрелю, – обернулся Иван Семе-

нович и быстро-быстро зашмыгал по грядкам к дому.

Гогот между тем не унимался: дурочкин сон и стратила-товская угроза довели его до неистовства, какая-то кликуша залаяла.

Но Иван Семенович не заставил себя ждать, словно из-под земли вырос он с большим грузинским пистолетом, украшенным тонкою резьбою. Он шел прямо к дьякону и в шагах пяти остановился, поднял пистолет и стал целиться.

И тотчас все притихло, одна лишь кликуша лаяла.

– Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! – зашептали старухи, распolzаясь, как слепые щенята от матери.

– Ты попробовал бы лучше из палки выстрелить, авось вернее! – Дьякон скорчил рожу, будто передразнивая, и стал пятиться.

А Иван Семенович упорно целился, и казалось, вот сию минуту спустит курок, раздастся выстрел и конец дьякону. Дьякон вдруг задрожал весь и, высунув язык, как-то приседа-дая, словно на перебитых ногах, с высунутым языком пошел прочь.

Так пропал дьякон за крестами, окружающими всехсвят-ский алтарь, и осталось у камня всего несколько душ: ка-кие-то деревенские бабы с узелками, и с ними кликуша, ко-торая лежала теперь ничком на траве, да нарядная барышня Спицына, дочка купца Спицына, опекавшая дурочку, да са-ма дурочка. Она сидела на камне, держала на коленях пла-ток и плакала тихо, как дети, у которых отняли игрушку. А

Иван Семенович все стоял и целился. И, должно быть, так в оцепенении с пистолетом в руках простоял бы до вечера, до ночи, если бы не пробудил его голос Надежды. Надежда, перевесившись из окна, с сердцем кричала ему, чтобы шел скорей чай пить – пирог поспел.

– Мерзавец, долгогривый пес! – очнулся Иван Семенович и пошел к дому, тяжело передвигая свои огромные калоши.

Эх, в прежнее-то время, в обернибесовское, в те ранние годы, когда еще жива была покойница мать, как весело проходили именины! Настал сенокос, напускалась-разгуливала острая коса в мягкой траве, сметали сено в стога, лег бы подле стога или сел бы верхом на коня, поднялся бы конь, только топ стоит. Сколько в лесе деревьев, сколько прутьев на дереве, сколько на каждой ветке зеленых листьев, все узнал бы, весь лес объехал бы.

Но теперь не до того: другая песня! Именины не в именины пошли. На следующий день после столкновения, на свои черствые именины, Стратилатов перебрался на новую квартиру к соседу Тарактееву в каменный дом с высоким крыльцом.

Не хотелось ему расставаться с своими комнатами, трудно было, а пришлось, не хотелось и вещам трогаться с места, за столько-то лет насидели местечко, а пришлось. Просто взбесилась Надежда, кричала она озверелая на всю Поперечно-Кошачью, что и дня не останется в дьяконском паучином гнезде, где и не житье ей, а смерть – осрамил ее дья-

кон! – рвала и метала, вгорячах кокнула заветную чашку с золотым крылом, напустилась со зла на Ивана Семеновича, давай колотить его да хлестать по ушам, исщипала до синяков, так разбушевалась, так расходилась, вот глаза выцарапает, хоть веревкою крути. Так и покинул Иван Семенович в угодность своей Надежде свой старый дьяконский дом.

Переезд на новую квартиру и вся злополучная история с обстрелянным всехсвятским дьяконом вызвали новые толки, а разговорам, всяким шуточкам и насмешкам конца не было. Уверяли, что из стратилатовского пистолета лет уж двести никто не стрелял да и заряжать такой грузинский невозможно: без пороха разорвет; смеялись над дьяконом, который стрекача задал в виду огнестрельного орудия, и что дурочка *сестрица* Матрена за это разлюбила своего дьякона, с особенным же удовольствием и довольно откровенно передавались подробности самого переезда: как стражник Емельян Прокудин помогал вещи перетаскивать и какая награда досталась ему за усердие.

– Голгофа, – взывал Адриан Николаевич, указывая волосатым перстом на Стратилатова, – рогатая ты плешь.

Но Ивану Семеновичу совсем не до рогов было, весь поглощенный устройством своего нового угла, он только и думал, как и где расставить ему вещи, которых оказалось и много да и непослушные какие-то. Всякие издевательства, всякие назойливые вопросы раз от разу отскакивали от него, как от стены горох. И признался ли бы он в конце-то концов,

что живет с Надеждою вовсе не как брат с сестрою, а ведь, в сущности, всем только и хотелось, чтобы он признался в этом, или же, потеряв последнее терпение, прибег бы к своей чернильнице и зачернил бы в канцелярии весь пол пятнами, а может быть, вооружась по самые зубы, опять за пистолет взялся бы, но уж, конечно, за самый скорострельный, об этом никто не думал, да и думать не стоило – все кончилось само собою.

Как лишь случай когда-то спас Ивана Семеновича от регента Ягодова, и регентских *злопагубных* нашествий, и ягодовской *богопустной* философии, так и теперь выручил его, но уж не случай, а целый ряд событий да таких важных – на весь город.

# ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Женский Зачатьевский монастырь после древнего Прокопьевского первый. В его прошлом числилось за ним немало заслуг и много прелюбопытных историй: он и от врагов спасал и просвещение насаждал, за его высокими стенами умирали в заточении узницы и простые смертные и такие, при имени которых Стратилатов непременно бы привстал, одно время хлыстовство процветало в нем, но все эти доблести давным-давно поросли быльем, монастырь пришел в запустение и шла жизнь хозяйственная, сварливая – монастырская.

Еще в конце прошлого года вдруг заговорили о монастыре, говорили с уха на ухо, а слышно было с угла на угол. Прошла молва, что творится в монастыре что-то необыкновенное и притом такое, что и подумать страшно.

По ночам будто бы подымается шум, появляется нечисть и скверна – вредные насекомые, жабы болотные, псы смердящие, мыши летучие, скорпионы и всякие гады земноводные, от которых и стон и крик по кельям стоит, но мало того, в трапезной будто бы все предметы ни с того ни с сего сами собой ворочаются: падает посуда с полок, вылетает пестик из ступки – зазеваешься, огреет по затылку! – выскакивают из печки горящие дрова.

Зачатьевский протопоп отец Пахом – *Ахитофел* сбежал

от страху, когда, пришедши в трапезную молебен служить, увидел шествующий ему навстречу огромный пустой сапог, а какая-то летающая корзинка такхватила дьякона в спину, что у бедняги все печенки отшибло и к Пасхе преставился.

А затем стало известно, что в самое наикратчайшее время кто-то надругался над всеми монашками, и такое попущение объяснялось не чем иным, как *огненным искушением*, которое будто бы нападает по ночам на монашек и нет от него никакого избавления.

Наш полицеймейстер Жигановский, любивший называть себя *Понтием Пилатом*, человек прямой и отважный, выведав через особых подручных суть дела, задумал расправиться по-свойски.

А дело-то было не без греха: оказалось, что и нечисть и скверна – все эти появляющиеся гады земноводные, не более как басня, пущенная лишь для отвода глаз, пустой же путешествующий сапог с летающей корзинкой – ловкая проделка; в действительности же по ночам монашки опускали с монастырской стены корзины и подымали в этих корзинах к себе в кельи своих кавалеров, а затем уж следовало *огненное искушение*.

Немедленно же нагрянуть врасплох и поразить всех наголову, вот что занимало полицеймейстера, – известно, Жигановский: два часа в сутки спал и все жулики ему повиновались.

По обыкновению, долго не раздумывая, неожиданно по-

дошел он ночью к монастырской стене, засел в корзину и благополучно стал подниматься. И уж в корзинке, покручивая свои лихие жигановские усы, рисовал в воображении своем целые картины: как все потрясены будут, какой кавардак выйдет – битва, разгром, поражение. И вот на самом наверху, когда оставалось только вылезать и действовать, монашки, заглянув в корзинку, с ужасом узнали полицеймейстера, затабунились воронами, зачайкали да от страха и выпустили веревку: корзинка – вниз, а с ней и Жигановский, да так с высоты и брякнулся оземь, – тут ему и смерть приключилась.

Геройская гибель Жигановского стала притчею во языцех: только о полицеймейстере и было разговору. И был по нем от всех великий плач, как выражался, передавая событие, Иван Семенович.

Не успели Сорокоуст справить, произошло другое событие, поднявшее шум вокруг себя не меньший.

Чиновник из судейского архива Страстотерпцев, не уступавший в своем пристрастии к чаю самому Стратилатову, коротая вечерок в трактире Бархатова с чиновником Предтеченским, побился об заклад на полтора рубля, что выпьет за один присест пятьдесят чашек чаю.

Предтеченский согласился, ударили по рукам и потребовали чаю. Случившийся у соседнего столика *бывший регент паршивого соборного хора* Ягодов, как отрекомендовался регент, и его закадычный друг, гармонист Молодцев, вызвались быть свидетелями. Бывший регент наливал, а гармо-



нист отмечал выпитое.

И тридцать девять чашек Стратотерпцев выпил, не крикнул, опрокинул и сороковую, взялся за сорок первую, поднес уж блюдечко к губам, стал было дуть, чтобы не так горячо, да вдруг как хлынет вода из ушей, изо рта, из носа – из всех отверстий, пошатнулся, выпучил глаза и упал, да так весь и изошел водою, помер.

А немного погода после похорон Стратотерпцева случилось такое, что, как говорил Иван Семенович, не случилось с тех пор, как почернел ворон.

Среди бела дня гимназистка Вербова, исполняя приговор местного революционного комитета, застрелила по ошибке, вместо губернатора, отставного полковника Аурицкого, а в ту же ночь арестован был секретарь Лыков и под усиленным конвоем препровожден в Петербург.

Да кому же после всего этого пришло бы в голову заниматься Стратилатовым! И что такое Стратилатов теперь? *Шишимора* – не больше. Так в один голос сказали бы.

Бросили Стратилатова, забыли Стратилатова, оставили в покое всякие его похождения, и жила ли у него Надежда или никакой Надежды никогда и на свете не существовало, все это было так далеко, так неважно и глубоко неинтересно.

Иван Семенович чувствовал себя как нельзя лучше, теперь уже беспечально, счастливо и невредимо пойдет его жизнь. История с Стратотерпцевым его ничуть не тронула, пожалуй, даже вызвала некоторое брезгливое чувство.

– Это все равно что утопленник, сам в себе утоп, Бог наказал за жадность, – отзывался Иван Семенович.

Полицеймейстера Жигановского вписал он к себе за упокой в поминанье рядом с низложенным португальским королем, а за отставного полковника Аурицкого поставил на канун свечку.

Зато как торжествовал он, что арестован наконец Лыков, – неподкупный и неуклонный Лыков, державший голову повыше самого прокурора и чуть ли не знавший то самое *куриное слово*, если знать которое, то все тебе можно! Ведь это же Иван Семенович первый открыл, что Лыков – революционер; и если о своем открытии не говорил при всех громко, а только шепотом, признаваясь на духу отцу Михею, то исключительно из уважения и страха перед начальством: как-никак, а секретарь – начальство, и не маленькое.

Скоро выяснилось, что Лыков обвинялся в организации какого-то вооруженного восстания. Иван Семенович, ничего не имея против, с удовольствием добавлял:

– И в экспроприации.

По его наблюдениям Лыков отнюдь неспроста ходил мимо сберегательной кассы.

– Конечно, – говорил Иван Семенович, – хотел ее ограбить.

А время шло своим чередом, как шло при Лыкове, а теперь без Лыкова, не обращая никакого внимания, кто прав и кто виноват, где ошибка и где правильно.

Пришла на двор осень. Дни были теплы и ясны – суха земля, а ночи теплы и тихи – частые звезды. До Рождества Богородицы простояло тепло, а за бабьим летом стала погода мокрая, пошли дожди.

Стратилатов приторговывал себе шубу – он решил озаменить свою новую жизнь: одеться по-новому, – и, облюбовав какую-то енотку, всем и каждому старался сообщить о своей покупке, а к стати и посетовать на всеобщее вздорожание продуктов. Но никто не обращал никакого внимания на его разглагольствования, и даже Зимарев, исправляющий теперь должность секретаря и оказавшийся достойным премником Лыкова, как-то не по-приятельски вел себя.

Участь Лыкова занимала всю канцелярию. Лыков не сходил с языка. Строились всякие предположения, и, по мере поступления новых сведений, решалась дальнейшая его судьба: и как он будет держать себя на суде, и какую произнесет речь, и даст ли такой повесить себя, если приговорят его, как гимназистку Вербову.

Так за всякими разговорами и делами никого не удивило и даже не вызвало самого простого любопытства, когда в один прекрасный день, именно после Воздвиженья, Стратилатов не явился в канцелярию. Дня три пустовало его место, и тут только хватились. Стали наводить справку, оказалось, заявления никакого не поступало. Что за притча?

Прямо из суда отправился Зимарев на разведки. Стукнулся в каменный дом к Тарактееву на новую квартиру, но там

Стратилатова не оказалось и справиться не у кого: внучка Тарактеева, девчонка глупая и бестолковая, только и могла сказать, что зовут ее Катькою.

Пробившись попусту с девчонкою, Зимарев пошел на старую квартиру, надеясь разузнать что-нибудь от надзирателя. Но к надзирателю не пришлось стучаться, на крылечке встретила Агапевна.

– Это ты, золотой, – обрадовалась старуха, – а мой-то, мой-то! – И беззубый рот ее вздрагивал.

Она повела его в комнаты, усадила в гостиной на царское кресло перед чудесным зеркалом.

Все было на своем месте целым-цело, словно бы и не думал никогда уезжать Иван Семенович из своего насиженного гнезда: лампадки горели в двух передних углах перед Спасителем и Богородицею и висели картины целы-целехоньки, на красном шкапу лежала приходо-расходная книжка для записи милостыни, а на дверцах красовался старинный обернибесовский галстук с кистями – все старуха устроила и поставила по-старому, только на сундуке с книгами, на котором спал когда-то художник, сидел теперь дымчатый усатый кот и, замывая гостей, пел свои *вилы-грабли*, да не было самого Ивана Семеновича.

Из расспросов выяснилось, какое несчастье постигло Стратилатова: будь тут о двух головах, – пропадешь, вот какое горькое!

После своего изгнания приютилась Агапевна в уголку в

сенях между сундуками и, стараясь на глаза не попасться, кое-как перебивалась, а когда Иван Семенович переехал к Тарактееву, позволил ей старик Тарактеев в кухне у дверей устроиться – днем за девчонкою-внучкою присматривать. А старуха и в щель тараканом затиснулась бы, только бы не расставаться с Иваном Семеновичем, чувствовала старуха: быть беде. Дня не проходило без стражника Емельяна Прокудина, и днем и ночью торчал он у Стратилатова – на чужое добро лаком! – точал лясы с Надеждою. И правда говорится: лакома овца к соли, коза к воле, а ветреная женщина к новой любви, – стряс ее с ним лукавый. Дальше – больше, и в конце концов ушла Надежда с Прокудиным. На Воздвижение перед обедом вломился стражник, забрал полный воз добра, ухватил и укладку с серебром.

– Ведь вот, милой, – рассказывала Агапевна, – наш-то схватился за укладку, не пускает. Дважды на улицу выбивались, а потом тот его и дерзнул. Мой-то свету невзвидел – скоконет с рундука-то да прямо в шайку, ажно вода захлипала, руками-то схватился за желоб, а труба прочь – а он боком-то, свету невзвидел! «Ничего, говорит, не понимаю, – дай руку мне, – веди меня, Агапевна!» – слезами заливаается. А Надерка-то поганая на возу сидит да хохочет: «На что мне, говорит, тебя лысого да паршивого, помоложе есть!». А кругом народ-то издевается, сорок человек, срамота! Так-то, милой, из-за женщины такую муку принял. Теперь в больнице лежит.

На другой день Зимарев ходил в больницу. Было уже поздно, прием кончился, но его, как начальство, пропустили.

Стратилатов узнал приятеля, но трудно было узнать его: с забинтованным боком он лежал на койке – ни повернуться, ни руку поднять – как колода, и не румяный, а почерневший, и не черный пушок, седые щетинились усы, ясно было, он подкрашивал их и подстригал искусно, и засела колючая борода, а маленькие глаза, мутные, как два стеклышка, перемигивались, скашиваясь к носу.

– Не боку мне жалко, Борис Сергеевич, а то, что она, подлая, укладку увезла; кабы не болен, прямо бы в суд пошел, – только и мог проговорить Иван Семенович, видно, больно закололо в боку.

И, глядя на приятеля своими мутными глазами, он словно все спрашивал: «И чего люди спорят, чего добиваются, и как разобрать, кто прав, и когда только все это кончится?»

Но отлегла боль, и он опять повторял:

– Не боку мне жалко, Борис Сергеевич.

Скрутило Ивана Семеновича, пришло время, и не дождался первого снега, не обновил енотку – не снес головы: на Федора Студита, как прилетать от железных гор зимним ветрам, приобщившись и пособоровавшись маслом, помер.

Рассказывали, что мучился он перед смертью крепко и томился. Все жаловался, что мыслей остановить не может и давит глаза шибко, и мерещилось ему, будто люди какие-то, на лопаты похожие, набрасываются на него, зацепили веревка-

ми под руки и тащат, как собачонку, к речке топить, упирается он, визжит, а они молчком себе тащат, а то будто кружится над ним ворон – черный вестник, железный нос, медные ноги, разинул клюв и все ниже, ниже спускается, хвост тоже мерещился шишигин, промелькнет по палате или в углу трубой стоит, дымчатый, пушистый, как у Васьки, вот-вот закроет.

– И-ва-а-ан! Васи-л-л-лий! Пе-е-е-тр! – причитал Иван Семенович, призывая не то мертвых из поминанья, не то живых знакомых, и каменел, словно палка.

А как прийти последнему часу, за минуту до смерти, затихать уж стал и ералаш свой бросил – перестал бредить, да вдруг как вскочит с койки, выпрямился, вытянулся на своих жилистых тонких ногах, инда утроба вся вздрогнула, стойкий, этак стал открыто плешью к солнцу, – сиделка уверяла, что Богородицу читать стал, а фельдшер Жохов хихикал, что вовсе не Богородицу, а будто стихи какие-то, – и как подкошенный повалился; пот выступил на переносице, и покати-лась капля по носу, капля за каплею, выбрало у него свет – отемнело, и отошел в вечную жизнь.

У Стратилатова наследников не было, не оставил он и духовной, и деньги – десять тысяч – перешли в казну. Вещи же назначили к распродаже, и пока что жила при них Агапевна. И вроде полоумной стала, сна лишилась старуха: приляжет ночью на лежанку, а не лежится, выскочит в сени на крылечко – все ей представляется, все ей слышится, будто Иван Се-

Менович кличет:

– Агапевна?

– Я, батюшка.

*1909*



# Комментарии

Альманах для всех. 1910. Кн. 1. Печатается по изданию: **Сочинения. Т. 1.**

Повесть, написанная в 1909 г., первоначально предназначалась для альманаха журнала «Аполлон». Позже Ремизов вспоминал: «Неуемный бубен был забракован «Аполлоном», так и не попал в альманах (*Кодрянская Н. Алексей Ремизов. С. 154*).

Интересно описание самого Ремизова реакции современников после чтения им «Неуемного бубна» в редакции «Аполлона»:

«Необыкновенное впечатление на Андрея Белого. На него накатило – чертя в воздухе сложную геометрическую конструкцию, образ Ивана Семеновича Стратилатова, костромского археолога, рассекая гипотенузой, он вдруг остановился – необыкновенное блаженство разлилось по его лицу: преобразенный Стратилатов реял в синих лучах его единственных глаз.

– Да ведь это археологический фалл. – Кротко, но беспрекословно голос Блока. Блок выразился по-гречески». (*Ремизов А. М. Огонь вещей. М., 1989. С. 321*).

Историко-культурный и биографический контекст повести освещен в работах А. А. Данилевского (*Данилевский А. А. Герой А. М. Ремизова и его прототип. – Учен. зап. Тар-*

тукск. гос. ун-та. 1987. Вып. 748; Его же. «Mutato nomine de te fabula narratur». – Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. 1986. Вып. 735). Исследователь указывает на множество параллелей, связывающих образ Стратилатова с персонажами Гоголя (Башмачкиным и героями «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем»), Достоевского (Макаром Деушкиным из «Бедных людей» и стариком Карамазовым), Иудушкой Головлевым, чеховским Беликовым и сологубовским Передоновым (героем романа «Мелкий бес»). А. А. Данилевский считает также, что прототипом образа Стратилатова является В. В. Розанов, с которым Ремизова связывали во второй половине 1900-х г. дружеские отношения. На наш взгляд, о более вероятном прототипе невольно проговаривается сам Ремизов в приведенном выше отрывке о чтении повести в «Золотом руне». Называя Стратилатова «костромским археологом», он заставляет вспомнить своего приятеля, исследователя древностей и хранителя Романовского музея в Костроме И. А. Рязановского. В мемуарах Ремизова он не раз шутливо назван «блудоборцом». См. также нашу полемику с вышеуказанной точкой зрения, а также о связи повести со скабрёзными сочинениями Ремизова в предисловии к публ.: *Ремизов А. М.* Заветные сказы. – Россия. Эрос. Серебряный век. М., 1992.